

Надежда  
Чернова



## ЛЕТЯЩИЕ В ТУМАНЕ

*(Весёлые мемуары)*

...всё началось, протекло и завершилось  
на моих глазах, – так быстро и на моих глазах...

*И. Бунин, «Тёмные аллеи»*

А В ЭТО ВРЕМЯ...

### **Видения ковыльной Степи**

Кузнечики взлетали до неба – красноногие кузнечики, быстрые кобылки. Они были похожи на крылатых тулпаров из восточных сказок. Глаза у детства велики! Словно охваченная огнём, словно подожжённая со всех сторон, Степь трещала искрами красных кобылок.

Я родилась в Степи, окружённой горами и лесом. В горах мне тесно, в лесу мне страшно, а в Степи хорошо. Я из казачьего рода, а казаки – это народ равнины, народ Степи, где легко можно лететь на коне. Степь! Она так широко, так вольно раскинулась во все стороны, столько там неба и чистого воздуха, что хочется раскинуть руки и кричать во весь голос от восторга и полноты сердца, любить всех, весь мир, как в рассказе Чехова «Степь». Его Степь прекрасна – и утром, и в полдень, и на закате. Это мой любимый рассказ, потому что там – поэзия, там Антон Павлович, сдержанный, экономный в словах, распаивает душу, как в детстве, отпускает на свободу и сам летит.

И моя Степь прекрасна – и утром, и в полдень, и на закате. После цветения горлицы и гусяного лука начинают колоситься ковыли. Их белые длинные стебли стелются, веют, переливчато колеблются над негустым травостоем. Когда выколосится ковыль, вся Степь кажется серебристой. Серебряные стебли склоняются и снова выпрямляются, будто кладут поклоны Солнцу, которое всходит из-за дальней сопки – огромное, красное, оперённое перьями ковыля, похожее на бубен степного шамана. Утром воздух свеж, но в то же время сух, насыщен ароматами тимьяна и шалфея. Колеблется серебристая дымка ковыля. И вот, ударяет невидимый шаман в свой бубен, вскидывая его всё выше и выше над головой, наряженный в огненную звериную шапку, и сам весь обвешан шаман лапками лис, хвостами волков и белых горностаев. Грубый, гулкий звук бубна раскатывается



по Степи – несётся стадо вольных лошадей. «Ат! Ат! Ат!» – гремит бубен, гонит крылатый табун. Возносится, взлетает до неба дробный гул – и рассыпается мелкими колокольцами по цветущей земле, вспыхивает росой на лепестках цветов, нежных, как детская кожа. Вся в слезах утренняя Степь. Но уже через мгновение она смеётся жаворонком, как смеялся бы и ребёнок, гоняясь за облаком.

Серебристая дымка ковыля колеблется морем – нет у него берегов. А вечером, на закате, перья ковыля вспыхивают красным огнём, и, кажется, Степь загорелась. Быстро несётся огонь – от ног твоих до самого горизонта. Роняет шаман круглый бубен. Катится бубен по волнам горящего ковыля. Пропадает в чёрной дымке ночи. Всё кругом сгорело, всё обуглилось, опало чёрным пеплом. Затихли кузнечики – запели цикады.

Но вот поднимает шаман другой бубен – голубой. Ударяет в него – и вырывается из бубна крик ночной птицы. Коростель кричит на дальнем озере. Но всё глуше, глуше удары бубна. «Ух! Ух! Ух!» – сова ухает, вылетая на добычу из тощего, тугайного леса. Прямо встала над Степью луна. И восстало сгоревшее на закате ковыльное море, и разлилось опять ковыльное серебро, расплавленное в солнечном тигле, замерцало, заволновалось, таинственно и тихо, как может мерцать и волноваться только полуночное море, знающее тайну первожизни. Мерно раскачивается море, плеск его усыпляет.

Спит старый шаман. Бубен его сам собой висит над Степью. Покачивается от ночного ветерка. Снятся Степи детские сны: материнская грудь, полная молока, тёплые ладони, и свет повсюду, куда ни глянь. Много, много света! Это на смену диким, непредсказуемым в стихии своей языческим богам сходит с небес Творец Всевышний – с ясным ликом, полный любви. Золотое сияние окружает его. Золотое сияние разлито вокруг. Это встаёт новое Солнце.

О любви говорит со мной Степь – сияющая, ковыльная, живая. И я тоже думаю о любви – вечной, как солнцеворот. Я думаю: уже силы иссякнут, взгляд потускнеет, уже многие уйдут за роковую черту, а любовь всё теплится в пещерке души, как зажжённая щепка отшельника. Ни власти, ни славы, ни денег хочет человек, когда рождается. Ни власти, ни славы, ни денег хочет он, когда уходит. Только любви. И одинокий, и окружённый большой семьёй, хочет он только любви. Вот я и буду говорить о любви – пришла и моя пора. А где любовь – там и Поэзия.

## Первый Пушкин

«На старости я сызнова живу – минувшее проходит предо мною...», – всегда открываешь Пушкина там, где тебе сейчас особенно нужно, и он непременно откликнется на твоё настроение. Пушкин, один из самых жизнерадостных поэтов, будет мне спутником по этим весёлым мемуарам – о жизни, любви и поэзии. Почему весёлым? А что ж не веселиться: XX век мы уже пережили, можно выдохнуть и – улыбнуться, тем более что и учитель Пушкина, Жуковский подбадривает: «*Не унывай! Минувшее с тобою!*» Вот я и не унываю.

\* \* \*

Моё «минувшее» началось через два года после большой войны, в бывшем казачьем укреплении Баянаул. Беременная мной мама перелезла через забор роддома – так ей казалось быстрее! – и едва успела добежать до акушерки, как

родила меня: в полдень, 15 января 1947 года. В этот морозный, сверкающий снегом день папа охотился в лесу и подстрелил огромного зайца. Вечером вся родня праздновала моё рождение, закусывая жареной зайчатинной. До сих пор мне жалко этого зайца, и душа его витает надо мной белым пуховым облаком.

Потом жизнь покатила незакатным солнышком. И вот, в один из тёплых месяцев 1949 года родители, подхватив меня, на пароходе поплыли в Семипалатинск из Павлодара, а до Иртыша тряслись на телеге, покинув Баянаул, где жили у моих бабушки с дедом, казаков Бутаковых. Поехали с орехами! Отец вёз нас к своей родне, устав от крутого нрава моей бабушки Тани и толкотни в доме, где её громкоголосые дочери могли оглушить – иерихонские трубы! Это у нас от Степи – казаки и казахи перекликаются из конца в конец долгой земли, и голоса у них сильные, звучные, как перекаты грома. Отцу привычнее был спокойный, крестьянский уклад его матери Пелагеи, родом из Курской губернии, где предки её работали на барщине, а в новых краях, в Семипалатинском Прииртышье, куда они переселились по Указу Столыпина, им дали свою землю, и там они первым делом посадили вишенник – вишнёвые косточки с собой привезли, а потом, как рождалось дитё на новой родине, сажали тополь. Так вырос в степи тополёвый да вишенный лес, полный птиц и живых солнечных пятен.

Бежал мой отец от бабушки Тани, хотя именно она выходила его. После тяжёлой контузии в танковой атаке на Курской дуге, на печальном Прохоровском поле, он сильно болел, били его припадками и бывали приступы беспамятства. Бабушка лечила травами, которые собирала в Баянских горах, сладким коровьим молоком, молитвой – и подняла на ноги. Папа работал коллектором в геологической партии. Прибыли геологи в Баянаул из Семипалатинска, их машины с оборудованием стояли в большом дворе Бутаковых, где, говорят, останавливался и академик Сатпаев со своими разведчиками недр; заезжали на гостеприимный бутаковский двор и родители казахского поэта и просветителя Султан-Махмуда Торайгырова (потом и улицу, на которой жили Бутаковы, назвали именем Торайгырова, и в музее поэта, в его ауле, висят фотографии моих стариков), а уж внуки толклись постоянно, я и сама до двух лет жила у бабушки с дедом. Дед Павел – моё первое детское воспоминание, которое вспыхнуло в провале бессознательной жизни. Нет меня, и вдруг – Я! Вдруг – яркий солнечный день, высокое крыльцо дома, и дед высокий – до неба. у него рост был почти два метра. Я на руках у деда, мне не больше года. Помню колючую его бороду, табачный запах щеки. Я хохочу, сбрасываю с ног башмачки, он их надевает, а я опять хохочу и сбрасываю. И счастье, счастье через край!

Приезжала я к бабушке и живя в Семипалатинске. Деда к тому времени уже не было – он рано умер, а бабушка прожила более 90 лет. И снова – полный дом народа: и дочери, и внуки, которых на каникулы отправляли в Баянаул – «дети разных народов». Отцы моих братьев и сестёр: русские, казахи, туркмены, молдаване, украинцы, была даже сестра-китаянка, да умерла в младенчестве. А ещё бабушка любила собирать у себя соседей. Она драла хмель в горах, варила дрожжи и продавала. Мясники на базаре уж волнуются: «Таня Бутакова дрожжи продала, счас за мясом придёт!» Лучшие куски ей готовят. Она и в самом деле приходит, придиричливо выбирает. Это целый ритуал – с шутками-прибаутками. Наконец, выберет, несёт – весь аул у ворот: глядит, как Таня с мясом идёт. Наварит она из этого отборного мяса бесбармака, и всех, кто покупал у неё дрожжи, зовёт на бесбармак. Вот такой был у неё бизнес! Другой раз и те, что у ворот остались, спешат к ней за дрожжами.

хоть, может, и не надо им, лишь бы попасть к Тане на бесбармак. Даже и не сам бесбармак их манил, а застольные беседы, своего рода «Бесбармачный клуб». Это уж и я застала, будучи взрослой. Соберутся за дастараханом, толкуют о том о сём. Главное: будет или нет война? Стоит ли косить сено? Бабушка Таня успокаивает: мол, слыхала по радио, есть у нас «ядрёна» бомба, вот «мереканцы» и бздят, так что – косите, не будет войны! После трапезы казахи читают «бату», омывая лица ладонями, а бабушка с соседками-казачками молится на икону в красном углу, где всегда горит лампадка. Богородица красивая, смуглая, как сама бабушка Таня. Довольные друг другом, соседи расходятся – до следующей торговой сделки бабушки Тани, а потом бесбармака и заседания аульной «Думы».

Папа уставал от постоянного многолюдства в доме Бутаковых, когда стал жить у них. У его матери тоже народу много – семь дочерей с семьями, и другие родственники: Стародубцевы, Щавели, Подлесновы, также переселенцы из-под Курска, из деревни Корнево, да с Черниговщины, но то своя родня, кровная. Он любил их до слёз умиления и восторга, потому что был от природы чувствительным.

Сначала-то папа снимал угол у одной холостой женщины, которая хотела за него замуж, а у Бутаковых – его начальник, к которому папа приходил. И однажды увидел мою маму. Влюбился в неё без памяти – белозубую красавицу, ослепительную, как удар молнии, с редкостным именем Линаида. Холостая женщина обиделась: «Жил со мной, а женился на этой! А так-то, конечно, она самая красивая в Баяне...» Но когда привёз маму в Семипалатинск, она не понравилась его сёстрам – они ему другую невесту выбрали: сельскую учительницу. У той была такая высокая грудь – стопка тетрадок на ней умещалась. А тут...

– Худорба! Ухватиться не за что, – оглядывали маму золовки, большие, телесные, с коронами кос на голове. – Миша, и где ты таку жар-птицу поймал? Ишь ты, капризна кака! На золотой козе к тебе не подъедешь...

### **Яки, Будда и шампанское**

Поселились мы в Семипалатинске на улице Песчаной, в старинном доме красного кирпича, у папиной старшей сестры тёти Кати – за печкой, которая перегораживала комнату на две половины. Там же, за печкой, жил и большой чёрный сверчок, который пел по ночам. Тётя Катя почему-то считала, что сверчок мужского пола и звала его Гордей. Был у тёти Кати ещё малолетний сын Павлик, с которым я быстро подружилась. Отец Павлика после войны в семью не вернулся – остался с фронтовой медсестрой в Прибалтике. Тётя Катя, глотая слёзы и зверски дымя горькой папиросой, писала ему длинные письма, звала домой. Мы с Павликом ходили за ворота и бросали письма в почтовый ящик. Письма падали на дно ящика. Павлик долго стоял возле него, будто ждал немедленного ответа от отца. Ящик молчал.

Первым делом мама выскребла и побелила запущенную комнату тёти Кати, и сверчок Гордей угорел от запаха извёстки – несколько дней молчал. А уж пол мыла ежедневно. Тётка моя смеялась:

– Ой, гляди-к, пол-то мне не протри до дыр, чистотка! – и вворачивала народную мудрость: «От грязи не треснешь, от чистоты не воскреснешь!» Как говорится: мы народ простой – говорим стихами!

В большом дворе на Песчаной стояли два кирпичных дома, обведённые высокими, тоже кирпичными, стенами ограды. Венчали эту крепость монументальные ворота – тесовые, с кольцами для коновязи. Так строили подворья казаки, которые пришли сюда, протянув Горькую линию военных укреплений для защиты Степи от набега задиристых соседей. В городе оставалось ещё много таких кирпичных дворов-крепостей. Теперь их, к сожалению, уничтожают, освобождая место для безликих новостроек и бесчисленных банков. Народ еле сводит концы с концами а вокруг – банки. Ради очередного банка разрушили и бывшие военные казармы, где простым солдатом служил в изгнании Фёдор Михайлович Достоевский – зимой 1854 года его доставили в Семипалатинск из Омска, из «Мёртвого дома», с соляным обозом и мешком замороженных пельменей.

Пельмени – замечательное изобретение китайцев. Помню, в детстве мы всей семьёй лепили пельмени – под песни и бывальщины. Непременно в некоторые пельмешки прятались мелкие монетки, и если кому-то попадался пельмень с денежкой, тот ликовал и ждал счастья. Я тайком помечала секретные пельмени чернилами, и вместо счастья получала «поджопник».

От той зимы, когда прибыл Достоевский в Семипалатинск, остались Ямышевские ворота толстой кладки, как вежа прежней черты города. Через эти ворота и въехал на скрипучих санях великий русский писатель в «Чёртову песочницу» – так он называл наш степной городок, и увидел семь мечетей, и увидел великолепный Знаменский собор, и увидел геометрически ровные квадраты кирпичных домов-крепостей. Это был казачий форпост, и это был город купцов Великого Шёлкового пути: на гербе Семипалатинска не зря красуются волны барханов и верблюды. «Семипалатинск – город верблюжий, коршуны кружатся над тобой...», – писал Павел Васильев. А другой, менее известный поэт, Иван Ерошин тоже писал: «Шатаюсь на базар. / Влюблён в глаза верблюда. / Такая красота горбтому дана! / И кажется порой: / Из глаз выходит Будда, / С ним кротко-тихая монашка Тишина...» Будда здесь не случаен, ведь город потому называется Семипалатинском, что начался с семи палат буддистского монастыря, где жили монахи. Некоторые поселения джунгар, а ещё раньше хошоутов, начинались с постройки монастырского комплекса и храма Будды, если правитель был богат. Вот и наш город имел монастырь, удобно расположенный в пойме Иртыша, где много рыбы и дичи, на пересечении караванных путей. В Семипалатинский его переделали, скорей всего, казаки или купцы, а так-то название его, по одной из версий, происходит от монгольского слова «суме» – что и значит, «монастырь». Видимо, по созвучию с этим словом казахи называют город «Семей». Набеги кочевников и время разрушили монастырь, остались только легенды о нём. Я жила среди исторических декораций, а вот верблюдов уже не было, тем более лохматых яков (их казахи называли «кудасами»), которых однажды пригнали с Тибета для дальнейшей отправки в Петербург – яки дают много хорошего и целебного молока.

Помню, что у одной из стен нашего двора-крепости на Песчаной улице вросли в землю две чугунных пушки столетней давности. Мы играли у этих пушек, осёдывая, как лошадей. Потом пушки перевезли в городской краеведческий музей.

Любопытные наблюдения о Семипалатинске вычитала я из писем 1846 года польского путешественника и этнографа А. Янушкевича (он был ссыльный), который хвалил семипалатинский климат и благорасположенность горожан, но кое-что его удивило:

«...Киргизский язык употребляется почти повсеместно. Даже прекрасная половина российского племени бегло говорит на нём, как наши дамы по-французски...»

И в XX в., в семье моей матери, на казахском (прежде его называли киргизским) говорили почти все, и сама она владела ярким, фольклорным казахским языком, вворачивая в речь пословицы, поговорки, разные восклицания и образные обороты. Одно удовольствие было ходить с ней на базар. Она пускала в ход свой замечательный язык, и торговцы-казахи нам всё отдавали чуть ли не даром.

Поразило Янушкевича и обилие шампанского, которое в Семипалатинске лилось рекой, перекрывая, наверно, весеннее половодье Иртыша:

«...Но раз речь идёт о шампанском, должен тебе сказать, что не знаю, где его больше пьют: в Шампани, в любом другом месте пропорционально населению, (...) или в Семипалатинске? Представь себе, что в течение четырёх дней, куда бы нас только ни приглашали на завтрак, обед, кофе или преферанс, повсюду «Клико», «Монтебелло» и «Силлери» заменяли квас и воду. Даже на мельнице и кожевенном заводе (за будущий помол и выделку кожи) тосты поднимали только шампанским! Наконец, вот тебе исторический факт: на свадьбе одного купца за здоровье молодых опорожнили 1500 бутылок!»

Видимо, тогда и были выпиты все запасы семипалатинского шампанского, потому что наши родители его видели только на Новый год, и только «Советское Шампанское». «Французов» к нам больше не завозили – ни верблюдами, ни яками.

\* \* \*

В коммуналке, где жила тётя Катя, было несколько комнат, с общей кухней в широком коридоре, и там, на длинном столе, шипели примусы. Соседка тётя Луша, толстая, вся какая-то ноздреватая, как переспелое тесто, то варила мясо, то жарила жирные оладьи, а я стояла у стенки и вдыхала ароматы её стряпни. Никогда не просила: знала – просить нехорошо. Просто стояла и смотрела. Возле стены нашей комнаты, где было всегда чисто, потому что мама там каждый день мыла, на корточках сидели другие соседи, курили и тоже наблюдали за оладьями тётки Луши. С ними она зло переругивалась. Возле примуса крутился сынок тётки Луши, Вовка, и дразнил всех, поедая горячие оладьи.

Муж нашей соседки работал на мясокомбинате, приносил оттуда то обрезки мяса, то жир, на котором тётя Луша и жарила свои оладьи. Приносил не просто так, а, видимо, приворовывал, потому что вскоре его посадили, а тётя Луша перестала зажигать примус. Но всё же успела пожировать. Один раз дала мне крошечный оладушек-поскрёбыш:

– Ешь, голытьба! Всё равно комом получился!

Радостная, нырнула я в свою комнату с этим оладушком.

– Кто дал? – тут же нахмурилась мама.

– Тётя Луша! Вот, дели на всех!

Мама выхватила у меня оладушек и выкинула в окно:

– Не попрашайничай!

– Она сама дала! – собралась я реветь.

– И не базлай! – прикрикнула мама. – Ещё не хватало милостыню просить!

Не смей у ней ничего брать!

Потом-то, уже повзрослев, узнала я, что тётя Луша писала доносы на соседей, которые были недовольны её мужем: он пил, буянил, бил смертным боем жену и Вовку, хамил соседям. Вовка вырос, и сам стал таким же, как отец: тоже воровал, пил, буянил. Жизнь свою непутёвую закончил в тюрьме, убив мать чугуном утюгом. Были тогда такие утюги, которые разжигались углем, как печки – тяжёлые. Мать не дала Вовке рубль на опохмелку, он и тюкнул её.

### Обед с крысой

С утра взрослые уходили на работу, а мы с Павликом оставались дома. Была с нами ещё собака Жучка, что жила под кроватью. Целую стену в комнате Павлик разрисовал портретами Жучки и сверчка Гордея. Тётя Катя не забеливала эту домашнюю галерею, только добродушно посмеивалась, пыхая горькой папиросой:

– То у нас заместо ковра с лебедями!

В роду Черновых многие хорошо рисовали. Старики вспоминали, что это от предка курского, который был богомазом, но потом в хате у него остановился длинноволосый, чахоточный революционер-народник, всю ночь с богомазом проговорил, а наутро богомаз орал, что Бога нет, побил все иконы, и, в конце концов, сошёл с ума. В деревне потом шептались, что жилец-то богомазов чёртом был, и кто-то даже видел у него копыта.

Павлик болел ушами и сидел взаперти, повязанный шерстяным платком, и я вместе с ним. Отпускали нас гулять только когда кто-то из взрослых приходил с работы, а так весь день обитали мы с Павликом на тётякиной кровати и глазели в единственное окно, которое выходило на улицу Комсомольскую, мощёную гулким камнем. По брусчатке иногда проезжали дребезжащие телеги, ещё реже – сиплые машины-полторки. Вот и всё развлечение. Нам с Павликом на день оставляли по куску хлеба и по стакану молока. В полдень из норы под печкой выходила большая крыса, вставала передними лапами на край кровати, накрытой пёстрым, лоскутным покрывалом, и требовала отдать ей хлеб. Жучка рычала на неё из-под кровати, но в схватку вступать боялась. Я отламывала от куска половину и отдавала крысе. Павлик тоже отламывал и давал, он ещё и молока ей наливал в собачью миску, отчего Жучка сердито ворчала. Крыса, не обращая внимания на собачье ворчание, съедала угощение и уходила. Однажды, вновь прибежав за добычей, она положила нам на кровать резинового пупса, которого где-то стащила. Отблагодарила! Теперь кроме окна развлекал нас этот пупс. Мы нажимали ему на живот – пупс пищал, а Жучка начинала петь под эту музыку и танцевать: вставала на задние лапы, кружилась. Тут и Гордей за печкой просыпался и затевал своё верещание. Вот уж было весело! Вскоре мама обнаружила пупса, хоть мы его и прятали. Начался допрос:

– Где взяли?

– Нигде!

– Отвечайте немедленно: где взяли?

– Нашли!

– Не врите!

Первой сдалась я, потому что не научилась ещё врать, и выдала крысу.

Мама всполошилась:

– Какой ужас! Катя, да что ж это такое у тебя творится? Она ж могла загрызть ребят!

Тётя Катя, невозмутимо пыхая горькой папиросой, вынесла приговор:

– За незаконное вселение в коммунальную квартиру придётся жилищу расстрелять!

– Не надо расстреливать! Не надо! – завопили мы с Павликом, но чрезвычайная тройка в лице тёти Кати, мамы и моего отца, была непреклонна: крысу изловили и уничтожили.

Как мы с Павликом выли, и Жучка с нами, когда свершилась казнь!

Но что наш вой по сравнению с воем соседки, у которой – по доносу тёти Луши – ночью забрали мужа, объявили врагом народа и угнали на Север, во льды. В укромном углу у тёти Кати всегда висел узелок со всем необходимым на случай внезапного ареста. Слава Богу, он так и не понадобился! *«От сумы да от тюрьмы не зарекайся!»* – гласит народная мудрость. Никто тогда и не зарекался.

### Пушкин и Мамай

От тёти Кати я впервые услышала о Пушкине. Когда мы с Павликом сорили, она всегда говорила:

– А убирать за вами кто будет? Пушкин, што ли? Мамай ночевал, и тот скочевал!

Мамамы мы знали – это наш сосед по коммуналке, дед Мамай. Каждый день он спускался по чёрной, тёмной лестнице во двор, где мостился на скамейке у стены. Одет был Мамай в обрезанные пимы, на голове тубетейка, а сам – в офицерском кителе: внук подарил, когда с войны пришёл. Дед очень гордился и внуком, и этим кителем! Целый день Мамай сидел у стены, опершись на посох, дремал, или наблюдал за нашими играми. Иногда кричал нам:

– Кель, кель!

Мы подбегали. Мамай вынимал из полотняного мешочка, который всегда был при нём, кусочки белого курта и раздавал. Курт мы тут же прятали за щёку и сосали, как леденец.

С Мамаем всё было понятно, а вот кто такой Пушкин? Мы с Павликом решили, что это дворник: раз мусор убирает – значит, Пушкин. По утрам дядька в большом фартуке подметал улицу. Мы с Павликом сидели на кровати у окна и глядели на звонкую мостовую, и всегда радовались появлению «Пушкина», махали ему рукой. Если он замечал нас, тоже махал в ответ. А однажды, когда мы гуляли за воротами, куда нам, вообще-то, выходить запрещалось, то «Пушкин» угостил даже конфетами, достав из бездонного кармана своего фартука. Тут уж мы «Пушкина» полюбили безмерно, поскольку конфеты видели редко.

Так Пушкин вошёл в мою жизнь. Потом-то я узнала, кто он на самом деле, и поэт стал моим другом, моим спутником. Дыхание его обжигало мне щёку, горячая рука его держала мою руку, а когда я грустила, он кричал мне:

– Мороз и солнце! День чудесный! – и мы вместе мчались на улицу, к ледяной горке, к снежкам, к весёлой беготне и валянию в сугробах. А если это было лето – то кувыркались в молодой травке, отчего одежда наша делалась зелёной, на губах мёдом оседала золотая пыльца, и со всех сторон обступало небо! Ах, Пушкин!



## Сокровенная ночь

В тесноте комнаты никак нельзя было уединиться, и мои родители ночью иногда сбегали на Иртыш, где катались на лодке. Я представляю эту картину – по маминему рассказу.

Они плыли по звёздному небу. И вверху, над головой, и внизу, на глади спокойной реки, было небо. Они опустили вёсла, и лодка плыла сама по себе, послушная сонному течению Иртыша. Скользила по снежной пороше Млечного пути, по изгибам Большой Медведицы, Полярная звезда льнула к лодке, как блестящая рыбка. Берегов не было видно – со всех сторон только небо, только тихая августовская ночь. В лодке – Она и Он, молодые мои мать и отец. Мама – в белом ситцевом платье, как невеста. Отец – в гимнастёрке. Наши отцы ещё долго после войны носили солдатские гимнастёрки, потому что другой одежды просто не было. Небывалая тишина окружала их. Тишина и покой. После недавней войны, откуда отец вернулся молчаливым, со страшными снами по ночам, с припадками от контузии, после постоянной нужды, из которой никак не удавалось выбиться, хоть работали чуть ли не круглыми сутками, после ночных арестов, после непонятого, шумного города, куда они приехали из деревни – после всего. Всё отодвинулось, растворилось в этой тёплой, августовской ночи. Остались только Она и Он, и эта сокровенная ночь, и любовь, которая была самым сильным потрясением в их жизни – сильнее даже войны, и всё ещё окатывала их горячей волной счастья, хоть прошло уже два года, как они вместе, и у них была я. В такую ночь они забывали и обо мне. Им необходимо было сосредоточиться только на своей любви – такой непостижимой, огромной, как это небо, что сияло, дышало вокруг, было живым, ласково плескалось в ладонях, когда мама играла с водой...

...А в это время у подножия Чингисских гор, из секретного бункера в нетерпении смотрели на проблески степного рассвета великий учёный Курчатов – с тощей чертячьей бородкой, и куратор его, тоже великий, но и ужасный Лаврентий Берия, надвинув на глаза чёрную шляпу и взблескивая очками. Доносился ли до них голос Потрясателя мира, Чингисхана, который, по преданиям, когда-то молился тут, в этих горах, в тайной своей келье, перед новым походом? Курчатов и Берия нервничали: осталось несколько мгновений до взрыва – и мир вздрогнет, и воздвигнется ядерный щит против Америки, которая грозит сбросить бомбы на 90 городов СССР. На японские города Хиросиму и Нагасаки уже сбросила, и очень этим гордилась...

...А в это время на высоком холме села Караул сидела группа партийцев. Село накануне эвакуировали, а партийцам приказали сидеть на холме до особого распоряжения. Они и сидели, перешучивались, и в то же время наблюдали за долиной. И вдруг дрожь пробежала по земле, в небо из чёрной горы вырвался огонь, он стал клубиться облаком, сворачиваясь в гриб на кривой ножке. Такие грибы-поганки вырастали весной в степи, только этот был гигантских размеров. Партийцы замерли от небывалого зрелища и не могли оторвать глаз от озарённого взрывом неба...

... А в это время дрожь пробежала по реке, сминая звёзды, ударяя в глинистые берега тяжёлой волной. Лодку прибило к песчаной косе, выкинуло на мель. Он и Она огляделись, будто проснулись. Было уже утро. Окрестности незнакомые. Куда приплыли? Выбрались из лодки, сели на выброшенную из реки корягу. Землю

бил мелкий озноб, она содрогалась, жалась к Ним – гул протяжным стоном шёл из потрясённых глубин. Река тяжело дышала, водила волны от берега к берегу, обрушивая глину высокого яра, сдирая песок до гальки. От берега к берегу, от берега к берегу – так в клетке мечется зверь, почувавший пожар. Вдалеке, на краю неба разрасталось молчаливое пламя, сворачиваясь в кривой гриб...

...А в это время в долине у Чингисских гор к холмам, где сидели притихшие партийцы, подъехали военные машины, из них вышли люди в камуфляже и противогазах, похожие на инопланетян. Они посадили партийцев в свои машины и повезли в город, в секретную клинику, где медики будут исследовать, какое воздействие произвела радиация на организм партийцев. Вскоре подопытные люди, которые не могли ослушаться приказа партии и приняли удар на себя, не подозревая о своём подвиге ради науки, стали умирать друг за другом. Вместе с людьми испытания радиацией проходили овцы, верблюды и собаки. Их потом тоже изучали. И никто тогда не знал, что на Семипалатинском ядерном полигоне испытали бомбу, остановив Америку. Не знали, что испытывать теперь будут часто, сжигая небо смертельным огнём. Под этим огнём мы будем и грезить, и жить, и любить, как в последний раз, как бывает только на краю гибели...

## ЭПИСТОЛЯРНЫЙ РОМАН

### Осень в Уральске

Жизнь вспоминается вперемежку, потому что вижу её целокупно, всю сразу: детство, отрочество, юность, зрелость, старость. И пишу так же: из раннего детства перелетаю во взрослость. Уральск. Осень в тихом, провинциальном городке, где «Русь уж за холмом...», как в «Слове о полку Игореве», но рядом и Ханская роща. Ветер с восточной стороны гудит диковатыми, богатырскими песнями поэта и воина Махамбета:

*«Пока не позабыл, как с женщиной спать, / Пока не перестанут тебя узнавать, / Если и после этого будешь жив, / Пока тряпку на ранах не перевернул, / Чей-то череп под голову подложив, / Под Полярной звездой пока не уснул, / Разве делу мужчины пришёл конец?..»*

Осень как осень. Ничего примечательного. Серое небо. Серые сумерки даже днём. Серая полоса облетевших деревьев. Правда, иногда вырывался оттуда огонь рябиновых ягод. Правда, воздух был пропитан стариной. Вот изба, где жила самозваная царица – казачка Устинья, последняя любовь Емельки Пугачёва. Вот старинный каменный дом, где останавливался Пушкин. Казалось, заверни за угол – и успеешь ещё увидеть карету и летящую крылатку поэта. Уральский писатель Геннадий Доронин крылатку эту часто видел, о чём написал в своих книгах, легко перемещаясь по магическому каналу Времени и в пушкинский век, и в другие, минувшие и будущие времена. Канал такой, по его уверениям, находится в одном из уральских домов, где жила чеховская Лика Мизинова. Вот крутой берег Урала – Маринкин яр. Там стояла беглая жена Лже-Димитрия, Марина Мнишек, с ненавистью глядя на Русь, которая никак не давалась полякам.

Текла под яром великая река, подмывала высокий берег, пела свои казачьи песни и грозила перекатами. А речь, речь казаков! Ею заслушивался Владимир Даль, каждое словечко вписывая в свой Толковый словарь великорусского языка.

А как щедро, роскошно развернулся этот язык в книгах современного уральского писателя, потомственного казака Александра Ялфимова!

Урал, взблескивая стальными изломами, равнодушно катил свои воды к Хвалынскому морю. Когда-то бегали по быстрым его волнам казачьи струги, по берегам теснились курени, пелись раздольные песни про славные походы дедов, про удаль и храбрость казачьих полков, про грусть-печаль их ожидавших жёнок, обнявших свои плечи цветастыми шальями – других объятий не было подолгу, зато уж потом, как приходили казаки живыми, жаром незакатным пылали ночки, и потому дети рождались красивыми, крепкими, с горячим нравом.

Я тоже из казачьего рода, да не простого, а старинного, работающего, потому богатого. Вроде бы когда-то у моих предков-казаков Бутаковых хутор был – не то на Днепре, не то на Дону, с яблоневым садом. Пришли мои прадеды в Сибирь и казахскую Степь давно, и тоже богато жили: были у них большие дома, лесные уголья, мельница, бахча. Бутаковы – фамилия, распространённая в Сибири, и впервые упоминается в документах XVI века: кто-то из Бутаковых, двигаясь с Дона, дошёл до Тихого океана, мешаясь с азиатскими народами. Бутак – слово тюркское, и означает: приток, ответвление. Вот бутаковский род и разветвился – семьи были многодетные. Мы своих предков знаем до пятого колена: первый наш прауродитель, Степан Бутakov, предположительно рождён в конце XVIII – начале XIX века. От Степана пошёл Пётр Бутakov. Он в Омске получил хорошее образование, был одним из первых поселенцев Баянаула (1836–1838 гг.) Баянаул активно заселялся казаками, там и православный храм был поставлен – по приказу самой Екатерины II. При Советах его разрушили, и меня крестила монахиня Паланя, которая тайно отправляла церковные обряды. Окунала в бабушкину глиняную ладочку – в ней бабушка тесто заводила, и всегда с молитвами: выпечка хлеба для неё была священнодействием. Ладочка тоже была священным сосудом – только для хлеба и крещения, и переходила по наследству. В казачье укрепление Баянаул и распределили после учёбы Петра Степановича Бутакова толмачом (видимо, от него моя склонность к переводческому делу). Вообще, все мужчины бутаковского рода были грамотными. От Петра – Михаил, от Михаила – Андрей, от Андрея – Павел. Павел Андреевич Бутakov – есаул Сибирского казачьего войска – мой родной дед. Кто-то из Бутаковых за воинские заслуги получил личное дворянство. Было чем гордиться! Но в нашей семье долго скрывали казачье происхождение, помня рассказывание 20-х и последующих годов, и репрессии, что пережили мои деды, казаки и кулаки, участвовавшие в антисоветском мятеже.

Но осень в Уральске запомнилась мне не только встречей с казачьим краем, а ещё и романтической историей – она полыхает в моей памяти так же ярко, как гроздь уральской рябины, и связана с поэтом, которого все звали уважительно Петрович. Буду и я так звать.

## Пером и копьём

Вообще-то, с Петровичем у нас складывались непонятные отношения: любовь не любовь, дружба не дружба – не пойми что. Он жил в другом городе, на Юге, и большая часть нашего общения проходила по переписке. Тогда, в 70–80-х годах, мы много переписывались. Интернета и эсэмэсок ещё не было (теперь и литература похожа на эсэмэски, со смайликами вместо живой улыбки), письма писали

от руки, и жанр эпистолярный ещё не утратил своей привлекательности, а у нас так это было, конечно, ещё и частью литературного творчества, как и у многих писателей прошлых веков. Пушкин, например, тщательно работал над каждым письмом, зная, что письмо будет читать не только его адресат, но и окружение адресата. И потому письма писались, как своего рода романы, и читались так же – как романы. И это, несомненно, развивало вкус цензоров, потому что письма перлюстрировались. Цензоры и рукописи с лупой читали. После этого чтения цензоры настолько преуспели в литературе, что иногда вставляли в сочинения литераторов свои реплики, и реплики эти становились даже бессмертными. Например, в «Борисе Годунове» Пушкина знаменитые слова: «Народ безмолвствует» – подарок от цензора. Он-то думал, что молчание выдал за покорность, а вышло наоборот – затишье перед бурей. Подтекст хитрее текста, и часто не слушает не только цензоров, но и самого автора.

Ах, Пушкин, Пушкин! Многие русские прожили с тобой свою жизнь, а ты – ни с кем. Смотришь с портретов всё время куда-то в сторону, в свою магическую даль. Не захотел ты с нами жить, рано ушёл – скучно тебе на земле... Нет равных. И, может, один Гоголь догадывался об этом, утверждая, что таким совершенным, как ты, будет человек будущего, но не назвал дату этого «будущего». То, что это не наше время, уж точно...

После ухода из жизни Петровича его сестра Татьяна передала мне мои письма к нему. Я соединила их с его письмами ко мне, и увидела, что наш эпистолярный, подобно письмам XIX века, это тоже роман с продолжением – литературный роман, ведь почти всегда при долгой переписке дописываешься до влюблённости, которая теряет краски при встрече. В письмах (как и в стихах) мы чище, чем в жизни. В письмах мы много говорили о поэзии, пытались разобраться в том, что происходит вокруг нас – в большом мире, и внутри нас – в мире потаённом, сокровенном, не стараясь покрасоваться, не стыдясь показать и свою слабость, обнажить свои грехи, как бывает на исповеди, или – наедине с собой, когда перед тобою лишь перо да бумага. О многом говорили. Искали поддержки друг у друга и находили её. Мы были со-мыслители, со-чувственники. А ещё – между строк витала «пленительная тень любви». А ещё – нередко бывало: он начинал какую-то строку, а я её подхватывала, или наоборот, и мы писали стихотворение – каждый, конечно, своё. Сколько таких поэтических переключек было! Некоторые из них как раз в письмах.

Приведу несколько отрывков из писем 70–80-х годов, которые, может быть, как-то объяснят нас (того времени) и наши с Петровичем отношения. В центре их – любовь, которая соперничала с творчеством. Проходят годы, а я всё дописываю и дописываю эти письма, продолжая разговор с моим поэтом, а, по сути, – с собой...

*«9 ноября 1977.*

*«Когда небо от жара кололось / И горела до срока трава, / Я на твой, еле слышимый голос, / Отзывался не раз и не два. / Духота миражами взрывалась. / И туманом полночным дыша, / Забывалась на миг, отзывалась / Невозможному счастью душа...»*

Кажется, с горем пополам, но сотворил я подборку о любви, а также – о нежности и беззащитности души человеческой. И – о её мужестве...»

«1 апреля 1978.

Виват тебе, удельный князь пламенного Юга!

...Пока пишу – счастлива. Как дам передышку голосу – весь мир противен мне и несносен, будто я отхожу от наркоза. Душу ломит! И ещё я подумала: в стихах мы всё же точнее, чем в обычном житейском разговоре, даже в письмах. В письмах невольно думаешь об эффекте, которое произведёт то или иное слово, а в стихах – мы ни о чём постороннем не думаем. Там диктует Некто – и всё. Бог ли, дьявол – вопрос другой. В стихах мы выдаём себя с головой. Это – рентген.

Уф! Записалась. Бумаги не хватает. Кончаю. Страшно перечесть. Если что не так, писано-то 1-го апреля...»

«21 декабря 1978.

...Заботы у нас с тобой одни. Я тоже сижу и мучаюсь над рукописью. Пишу стихи, непривычные для слуха тех, кто привык видеть во мне степного романтика, эдакого молодца со стальными нервами и мускулами, для которого пустыню перейти, что сплюнуть. Новые стихи могут вызвать кое у кого сильное раздражение, кое-кто скажет, что я изменил самому себе и пошёл не в ту сторону. Ну и чёрт с ними! Главное – я знаю, куда иду и чего хочу.

...И совершенно справедливо ты однажды заметила, что одного таланта мало, надо ещё по-своему им распорядиться. Да, нужны размах, углублённая философия. Размах и мысль были присущи Твардовскому, и без этого всего самая тончайшая поэзия не сможет удовлетворить ни самого поэта, ни читателя.

Мы часто пишем самих себя, а надо писать Время в себе, надо ловить Время, как дурак Жар-птицу. Я о том, что пора и надо говорить от имени поколения, от имени НАШЕЙ, не менее чем другие, романтической эпохи. Надо рассказать о ней художественными средствами. Но, кажется, я лезу на кафедру, откуда вещаю прописные истины, что, конечно же, нехорошо...»

«7 декабря 1979.

...Ни черта не выходит! Мучают бессонницы. Да и кому нужна моя писанина? Какое поколение, какое Время доверили мне писать от их имени? Я достиг потолка, колочусь в него. Сам себе противен. Черно на душе, беспросветно... Вчера хотел повеситься...»

«8 декабря 1979.

Боже мой, боже мой! Ну что за настроение? Кстати, я только что вернулась из Усть-Каменогорска, виделась со знаменитым в нашем Прииртышье поэтом Михаилом Ивановичем Чистяковым. В просторном его кабинете на полу была распята шкура бурого медведя. Сам ли поэт его подстрелил или кто-то из пишущих стихи охотников подарил, но не повезло бедняге, и вот теперь хозяин алтайской тайги, который любил свежие хвойные леса на взгорьях, весенние травы, чьи сладкие стебли он поедал после зимней спячки, стал теперь дохлой шкурой, и его попирают ноги болтливых стихоплётов. Но не об этом я хотела тебе сказать – просто шкура на полу то и дело отвлекала моё внимание от умных разговоров, а между тем Михаил Иванович, пытаюсь поймать сквозь свои толстые очки мой плавающий взгляд, важно проричал:

– Мы, старики, уже уходим. Среди новой смены – я всё читаю, что вы пишете, не думайте! – будущее за вами!

И сказал, что, в первую очередь, будущее – за Тобой! Через паузу он назвал и меня, но ведь я была у него в гостях, мы выпили водочки, «Песнь Песней» царя Соломона на два голоса читали, я нахваливала кухню его жены-гречанки, и могла Чистякову показаться надеждой не только казахстанской литературы, но и всепланетной. А о тебе он искренне, трезво сказал. Вот так! А ты вешаться собрался, забыв о том, что тебя любят не только в твоей семье. Мне кажется, самое интересное только начинается, а ты о «потолке» заговорил. Каждый школьник знает, что за обычным голубым небом есть ещё небо, и ещё, и ещё... Долетаем до седьмого – и возвращаемся назад, чтобы снова прожить жизнь и взлететь, и, может быть, пробить головой бесконечность. Надо только преодолеть тяготение привычной колеи, по которой, видимо, потекло твоё творчество. Оторваться от земли отработанной, от пустой породы. Да я тебе уже писала об этом!

Не знаю, как рассудит Время Вечное, а сегодня – оно твоё! Пишу я это тебе вовсе не потому, чтобы утешить в твоих бессонницах. Просто надо когда-то говорить и об этом. И если уж случился такой чёрный провал в душе, может, стоит пока не писать? Погодить. Остановиться, оглянуться. Нельзя же только выплескивать из себя, и накапливать ведь тоже необходимо. Потом, у нас хоть адский, но всё же благодатный дар: даже немота и чернота души становятся в конечном итоге стихами. Когда-то я написала плохое «стихо», где были весьма циничные, но не лишённые правды строки: *«И если не получится любовь, то, может, выйдет строчка для стихов...»* Конечно, в жизни у меня не столь меркантильное отношение к любви, но и любовь, и не любовь – всё, тем не менее, животворящая глина, из которой лепятся потом поэтические образы.

Ты говоришь, что я близка тебе в письмах (и в стихах, наверно, да?), а в жизни – чужая. И об этом у меня строки есть (как у классиков марксизма-задуризма на все случаи жизни есть у меня тезис!): *«А в стихах я совсем другая – с золотыми косами до пят...»* И в письмах тоже – другая, там косы ещё золотее и длиннее. Кто-то сказал, что творчество – это «компенсация недостающего в нас». Если творчество прекрасное – значит, видимо, не достаёт много. Если так себе – всего хватает. Но всё же – в стихах, в письмах моя душа, мои стремления. Что истинней: внешнее проявление души, или сама душа? Мы слишком мало видимся с тобой, и говорим мало, и живём – далеко друг от друга, чтобы вполне ответить на этот вопрос. А потом, одна моя «заклятая» подруга как-то сказала мне:

– Ты всех подпускаешь к себе только до определённой черты!

Я давно перестала думать, что это хорошо, хотя это спасло меня от многих бед. Ладно! Для психоанализа места уже нет. Ты уж мне напиши письмецо-то, и книгу новую жду!..»

*«15 декабря 1979.*

...Ты, конечно, права – всё у нас в конечном итоге становится стихами. Я ещё не вполне оклемался, а душа уже выплеснула:

*Теперь и я понять могу*

*Отчаянье и нетерпенье*

*Того, кто в дружеском кругу*

*Не мог найти успокоенья...*

Права ты в том, что душевные порывы у нас частенько никак не согласуются с внешними проявлениями. Но... пойдём дальше. Разве мы не стремимся соединить, согласовать внутреннее и внешнее? Если душа будет жить сама собой – она сгорит. Но и столкнуться с несовместимым, тоже значит – обжечься. Вот время от времени мы и обжигаемся, и полученный опыт, пока жива душа, не оставляет нас – мы идём навстречу неизбежному, зная наперёд порою – обожжёмся! Но... идём, не можем не идти. Нам хочется только, чтобы кто-то сокрушил эту «спасительную проклятую черту», которая грозит со временем превратиться в каменную стену, что отгородит тебя от людей и мира, от жизни отгородит. *«О, кто-нибудь, приди, разрушь!»* Я бы ещё порассуждал о том, какие мы в письмах, а какие – в жизни, но лучше об этом не писать, а говорить...

Что ж, пора и точку ставить. Спасибо за тёплое участливое письмо, оно меня окончательно примирило с жизнью. А *«за всё добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью»*, – так сказал мой друг Николай Рубцов, и лучше, вернее, пожалуй, не скажешь. Аминь!»

*«20 декабря 1979.*

...Знаешь, о чём я подумала? Проявление твоих слабостей – от силы. Ты преодолеваешь путы, силки этого мира, который, как легендарного Сковороду, стремится уловить в свои сети, повязать по рукам и ногам, сделать рабом, червем, а ты хочешь быть ещё – и Богом, и царём. *«Я червь – я Бог!»* Зря Пушкин считал стихи Державина плохим подстрочником с прекрасного оригинала. Какие строки, а! Только знаешь что? Ты, мне кажется, часто впадаешь в некое глубокомыслие и о многих простых вещах рассуждаешь шибко серьёзно. Ты, как дитя, которое разбирает на части игрушку, хотя знает, что внутри неё – вата или опилки. А ведь русское удалство и весёлость в тебе есть, есть, есть, я знаю! А ну-ка, тряхни кудрями золотыми да сыграй на гусельках что-нибудь озорное!

...И ещё, знаешь, какое я открытие сделала? У Петrarки Музой была Лаура, у Данте – Беатриче, Пастернак писал «Сестра моя, жизнь», у Блока – Прекрасная Дама, а у тебя Муза – Друзья, к ним ты то и дело обращаешься в стихах, равнодушие друзей больно ранит тебя – и ты пишешь об одиночестве, как о конце света: *«Теперь и я понять могу / Отчаянье и нетерпенье / Того, кто в дружеском кругу / Не смог найти успокоенья...»*

*«3 января 1980.*

...Я тебя начинаю побаиваться. Ты видишь, что творится под землёй на три метра. Проявление слабости – от силы... Верно сказано. Я пойду дальше. Мне до чёртиков надоела роль супермена, бой-парня, эдакого ледокола. Не знаю, кто первый произнёс, что я – сильный человек. Польщённый, я промолчал, а теперь расплачиваюсь. Венец, возложенный на мою рыжую голову, оказался тяжелее шапки Мономаха. А какой я, к чёрту, Мономах? Я простой человек, который пишет стихи. В этом деле моя воля, может быть, и сильна, а в остальной жизни я, несомненно, телёнок: из меня можно верёвки вить.

Я поднял бунт, я и подавлю его. Надолго ли? Не знаю...»

*«1 октября 1980.*

...Перечитала ещё раз твоё письмо и в который раз сокрушённо покачала головой: «Нет, он всё же из самоубийц! Из тех, кто сам себя сжигает дотла.

И все сравнения у него из области борьбы, единоборства, драки не на жизнь, а на смерть...» Вот и теперь ты говоришь о нокдауне, о глухой защите и т. д. О поединке! *«И вечный бой! Покой нам только снится!»* В пушкинские времена ты бы без конца дрался на дуэлях. Не представляю, как ты станешь премудрым старичком, возведёшь дом на берегу родной своей Оки, и жить будешь тихо-тихо, рыбку удить, как мечтаешь. Картина немислимая, по-моему. Ты, мне кажется, всегда жить будешь по этим своим строкам:

*«Идти по краю пропасти, навстречу / Единственному, может быть, спасенью. / Навстречу свету, людям, и навстречу / Огромному ликующему миру. / Да, только так – или гибель, или... / И третьего, по счастью, не дано!»*

Напиши это кто-то другой, было бы слишком пафосно и категорично. Для тебя же – естественно. В крови твоей засел, наверно, юношеский максимализм: «или – или», который извечно будоражит мир, склонный к покою, к затишью, а не вселенским бурям. Мельницы не вертятся. А тебе надо, чтобы вертелись. Ты – Дон-Кихот, мой дорогой, да будет тебе известно!

Пиши мне и пером, и копьём. Скучно без твоих писем. Твоя Дульцинея, а, может быть, скотница...»

И тут произошло одно удивительное событие, которое вбило клин в наши с Петровичем отношения. Об этом в следующей главе.

### Кража века

...Я звала его Мираж, хотя это не выдуманый, а вполне реальный человек. Он мне, как не однажды уже бывало, приснился, но тогда у него не было имени. Имя я узнала в дни нашей с Петровичем переписки. Хотя какое у Миража имя? А привиделся он мне в отлучестве, так что история эта давняя и немного детективная.

...Нас ограбили. Жили мы тогда в Семипалатинске, в только что отстроенном доме. Я пришла из школы и обнаружила, что замок сломан, дверь открыта. Осторожно вошла – всё в доме было перевёрнуто: ящики комода выдвинуты, из них свисали тряпки, шкаф открыт настежь и пуст. Вся одежда пропала. А надо сказать, у нас только-только появился кое-какой достаток, и родители справили себе новые костюмы: папа – выходной, из чёрного шивиота, а мама – тёмно-синий, из тонкой шерсти. Были у неё и летние платья – из цветастого крепдешина, с крылышками, и блузки с оборками и высокими плечами, и пыльник из чесучи кремового цвета. Мама у нас большая модница! Всё пропало. Мне тоже перепали обновки: школьное платье – шоколадного цвета – с модным плиссе, и пальто из колючего сукна с воротником из настоящего меха, упоительно пахнущего чистым зверем. Шили в ателье. Когда я приходила на примерки, портниха Оня-поджигательница уважительно пожимала мне руку, и разговаривала со мной, как со взрослой. А «поджигательница» потому, что мужа сожгла. Оня сама мне рассказывала, ловко наживуливая рукава пальто:

– Мой-то, паразит, к Любке-закройщице ходил. Ох и промытная баба эта Любка, ох и промытная! Но я их всё ж таки выследила. У Любки как раз утюг грелся, им и запустила – весь уголь с него высыпался, оба загорелись, как миленькие! Чё было, не передать! Любка орёт, огонь с себя сбивает полотенцем, а мой матерится



да богат, матерится да бегат, а сам-то нагишом. Подпалила я ему черешок! Любка потом с ателье уволилась, курва-то...

Пальто и платье-плиссе были на мне, потому их не украли.

Я кинулась к тумбочке, где прятала тетрадки со своими стихами. Стихи были тоже на месте, да и кому они были нужны? Но для меня в то время составляли главное богатство. На полу валялись разбитые гипсовые статуэтки, бумажные цветы из вазы. И тут же, на полу – будильник. Когда он упал, время остановилось, и будильник показывал: ограбление случилось в половине первого дня. Я пришла в час – это подтвердили ходики на стене. Значит, где-то через полчаса после воров. А, может, и того меньше, ведь неизвестно, сколько они ещё пробыли в доме, как будильник упал. Меня ужасало не столько само ограбление, сколько возможность встретиться с бандитами, приди я на полчаса раньше. Убили бы, как убили одну женщину с нашей улицы, которую тоже ограбили, а саму связали и задушили бельевой верёвкой.

Меня стали мучить по ночам кошмары. Я плохо спала, кричала во сне. Вот тогда-то и приснился мне сон, который оказался пророческим. Мне привиделось лицо. Незнакомое. Оно наплывало, как огромная луна, пока не заполнило всё пространство сна. И тогда зазвучала Музыка! Лицо я запомнила навсегда, и особенно глаза – ярко-синие, подёрнутые детской слезой. Лицо явилось только однажды, но этого хватило, чтобы я избавилась от моих страхов. Не знаю уж почему, но мне стало казаться, что я теперь под защитой этих синих глаз и Музыки.

Проходили годы. Я много что пережила, пострашнее, чем заурядное ограбление: и трагическую утрату любимых, и предательства, и тяжёлые недуги, из которых вышла едва живой – сказывались последствия испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, вблизи которого мы жили: всё детство пили противный рыбий жир и гематоген, но всё равно болели, а я так ещё и в обмороки падала; пережила я и семейное рабство, неизбежное в совместной жизни, и любовные романы, которые случались от лишнего огня. Бабушка моя, казачка Таня, только головой качала, глядя на мой бесстыжий румянец и горящие любовной лихорадкой глаза:

– Ох, девка, гляжу – не выгулялась! Не объезжанна ишшо лошадка! Где твоёму совладать с тобой – не казак. Нет, не казак!

И я всю жизнь искала «казака». Думала: Мираж – это и есть мой «казак». Всякий раз вспыхивала: «Вот он! Вот он!» Но это был всегда не он. Ускользал пятном света, истаивал звуком чудесной Музыки. И однажды я встретила человека – причудливого, не похожего ни на кого, но я его сразу узнала: это был Мираж – из моего отроческого сна. Лицо было именно таким, как во сне, и глаза ярко-синие. И хотя у него появилось имя, я продолжала звать его Мираж, поскольку конкретное имя, как оказалось, не имело уже никакого значения. На казака он был совсем не похож. Какой из Миража, из сновидческого тумана казак? Настоящим, природным казаком окажется мой второй муж, Игорь Бек-Софиев – прямой потомок атамана Запорожской Сечи Родиона, которого Екатерина II за бунт сослала на Соловки. Бабушка Игоря (мать его отца), Лидия Николаевна, в девичестве была Родионова. Она-то нравом истинная казачка: лихо скакала на коне, имела строптивый характер, всех себе подчиняла. Атаманша! Очень была своенравная. В Игоре же «казачества» почти не наблюдалось: мягкий, податливый человек, без дикого огня, а вот как-то сумел стреножить меня, но и он не смог отвадить от Миража – от моих поэтических фантазий.

Мираж приходил во сне и наяву. Он грезился мне. Солнечным бликом мелькал в тёмных облаках, в тёмной листве деревьев. Шёл за мной по пятам – незримый, бесшумный, но я слышала за спиной его живое дыхание. И Музыка! Музыка! Со всех сторон звучала Музыка! И она гипнотизировала, как дудочка танцующую птицу. Я сама не заметила, как была опутана нитями незримых силков. Забилась птицей, закричала! А вырваться уже не могла. Птицелов наклонился надо мной. Лицо его наплывало крупным планом, как в магическом моём сне. Губы его смеялись, в то время как в ярко-синих глазах мерцали слёзы. Он не убил меня, не приторочил к своему поясу. Поглядел – и пошёл, неведомо куда, играя на своей дудочке, а меня оставил биться в силках. Но я всё же выпрастала крылья, взлетела. Надо бы спастись от жестокого птицелова: прочь, прочь! А я зачем-то полетела за ним, цепляясь порванными нитями за верхушки деревьев, колочки чертополоха, снова взмывая вверх, чтобы упасть в тёмные провалы земли, расколотые землетрясением – и снова рвануться в небо! Пут не было, но я была во власти моего Миража, и следовала за ним, за странной Музыкой, которая завораживала...

...Тебе снятся опять миражи, овевая прохладой губы. Ты поэзии жаждешь, а жизнь надвигается грубо. Погребальным фургоном скрипит, и шарманкой, и нищей бродяжкой. Мучай ближних, лишенья терпи, и на хлеб зарабатывай тяжко. Нет поэзии – только обман! Но за пятнышком света, за тенью ты идёшь через вечный туман, как слепец, улыбаясь виденью....

Мы с ним проходили сквозь воющие страны, сквозь руины древних царств, среди нищих и богатых, среди смеющихся детей и плачущих женщин, мимо белых церквей, мимо белых облаков, мимо стрельчатых мечетей, похожих на космические ракеты, по шёлковым степным ковьялям, по одуванчикам поля, мы видели треснувшие щёки такыра и зелёные долины, пьющие воду ключей, мы шли по склонам снежных гор, и за нами гнался камнепад – под барабанный гром буддистских дацанов, вместе с католиками несли мы раскрашенную фигурку девы Марии, увитую цветами, вместе с иудеями били поклоны у Стены Плача в Иерусалиме, мы поднимались по ступеням Храма Солнца в индейских джунглях, мы взлетали в небо – и падали вниз дождём, и становились морями, и солёные губы наших волн целовали землю. Где мы только не были! Мы спали – и не спали. Всё нам снилось – и не снилось. Мы всё перепутали: где явь? где сон? где грёзы? И это была наша жизнь, наша любовь...

*«2 января 1981.*

Друг ты мой единственный, Петрович!

Для меня прошедший год – не зря он високосный! – был нелёгким, беспокойным: душевное смятение, разочарования, чёрные сомнения в себе, в друзьях, любимых людях, горькие заблуждения сердца – вот что был для меня год 80-й, мой «чёрный год», когда я чуть не потеряла свою лучшую подругу (единоборство тщеславий, жестокость в оценках друг друга), я тебя могла потерять! Между нами встало моё «безумие», мой Мираж. Мы чуть не расстались из-за того, что я влюбилась в одного странного и не приятного тебе человека, потому что – чужой! Но ведь и я влюбилась в него, потому что – чужой. Своих-то я знаю вдоль и поперёк, и там нет уже тайны, а тут – всё тайна. Он завладел моей душой. Давно завладел, ещё до встречи с ним и с тобой – в детском сне. Я в шутку называю

это «кражей века» – моего века, конечно, не общечеловеческого. Пытаюсь вырваться, не знаю, смогу ли? Но, встретив его, поняла одну очень важную вещь: нас с тобой связывают пять лет сложных – и радостных, и грустных – отношений, а это – целая жизнь! Она давала дыхание и тебе, и мне. По крайней мере, о себе я говорю с полной ответственностью. Поэтому каждый шаг от тебя невозможен без крови. Срослись! Это открытие, признаюсь, было для меня неожиданным. Я не могу назвать тебя единственным любимым – я влюблялась много раз, и теперь вот влюбилась. Но я не могу и назвать тебя только «другом вдали» – ты мне больше, чем друг: ты – родной мне человек. И это наиболее точное моё отношение к тебе, и это важно для меня сейчас, когда подступают очень серьёзные, жёсткие времена, когда душа моя мечется.

Прости меня за моё безумство! Надеюсь, оно для нас обоих закончится стихами. И только стихами...»

*«13 января 1981.*

Письмо такое, что надо отвечать немедленно. Всё то, что ты написала, должен был сказать я. Не успел я это по двум причинам: во-первых, мне самому надо было во всём разобраться; во-вторых, я не хотел, и не мог, и не имел права давить на тебя, подталкивать. Я видел – что не видел, то угадывал, чувствовал, – все твои и чёрные сомнения, и заблуждения... Не скрылось от меня и твоё, как ты говоришь, «безумие». Не стану врать, мне было не очень хорошо, горько было, иногда хотелось позабыть о своей прославленной друзьями силе и стать слабым, получив таким образом право на жалобы и слёзы. К сожалению, я так привык быть сильным, что это – незаметно для меня – (и во вред душе!) – стало моей второй натурой. Я стиснул зубы и молчал, рискуя схлопотать тяжелейший удар под сердце. Но я знал то, что тебе открылось позже – через «безумие». Я знал, что бы там ни произошло, установленное родство душ не нарушится. Поднявший на него руку – потеряет руку, и хорошо, если только её потеряет. Здесь можно разбиться вдребезги! Хорошо, что всё хорошо кончается... Кончилось ли? И почему – кончилось? Не то, кажется, слово... Я думаю, не стоит замахиваться дубинкой на «саму жизнь» – тоже слова твои. Мы и сейчас, и всегда будем нужны друг другу. И никаких сомнений, и никаких... чуть было, не сказал – безумий, но они пусть будут, лишь бы не уменьшили они в наших сердцах нежности, другим не принадлежащей...

Знаешь, что сделало твоё письмо? Оно вызвало в моей душе острое желание писать стихи. А раз такое желание пришло, значит, поуспокоилось взбаламученное море, значит, душа горит ровным и сильным огнём, загасить который не так-то просто. Спасибо! Я непременно напишу стихи, и они будут, надеюсь, о нашей, одной на двоих, боли, о нашей, одной на двоих, радости. Всё. Вот так!».

Он, действительно, написал несколько стихотворений – вокруг моего «безумия» и своих страданий. Мы ещё года три после этого переписывались, но уже без прежнего накала. Я так и не переболела моим «безумием» – моим Миражом. Мираж всю жизнь преследовал меня, расшатывал два моих счастливых брака, и все, как я их называла, «промежуточные увлечения». Словно подземная река, он таился в глубинах моей Души, на самом дне, где единоборствуют свет и тьма.

Но вернёмся к «эпистолярному роману» с Петровичем. Последнее письмо от него пришло 27 октября 1984 года. Я, видимо, прислала какие-то стихи, ему

посвящённые, и он отвечал на них – моё письмо не сохранилось, – похоже, продолжался разговор и о моём «безумии». Кончалось письмо так:

«...И всё-таки, как бы и что бы там ни было, а на душе потеплело. Я старше тебя, и мои привязанности глубже, потому что новых мне уже не обрести, наверное. Ну а к тебе у меня особого рода нежность. Есть в ней что-то братнино, даже чуточку отцовское, хотя я и сам очень и очень нуждаюсь в подобном к себе отношении.

Когда пришло твоё письмо, у нас шёл дождь, было холодно, но я так измучен летней жарой, что холоду этому и дождю рад. А за стихи – спасибо. Вернее, спасибо за память сердца. Значит, не совсем посторонний я человек для тебя, значит, наши будущие встречи и радости всё ещё остаются НЕИЗБЕЖНЫМИ.

*«Ещё припомню, как среди бела дня / В людской толпе ты замечал меня / И окликал, и вслед тянулся взглядом. / Я слышала, но уходила прочь, / Чтобы потом, когда наступит ночь, / Войти к тебе и быть с тобою рядом...»*, – эти строки могла бы написать и ты. И была бы права...

Остаюсь и жду, жду...»

### «Тайное общество канареек»

После писем было странно встречаться: мы не совпадали с теми собой, какими были в письмах. В письмах он – нежный, трепетный, сомневающийся. В жизни – напористый, шумный, грудь нараспашку, а иногда – угрюмый, с насупленной бровью, как Стенька Разин с известной картины, который только что бросил за борт персидскую княжну. Тяжёлая дума бороздила чело Петровича. Голубые глаза его становились чёрными. Проступало в нём что-то мужицкое, тёмное, звериное. Я не узнавала моего друга по переписке, ускользала от него, отстранялась, а он – догонял, охотился. Наконец, устав от этой беготни и получив от меня решительный отказ выйти за него замуж – нельзя, невозможно было разрушить две семьи: дети этого не прощают! – он согласился быть мне братом, и даже отцом, о чём и в письмах говорил. А что ещё ему оставалось делать? Утешило его, может быть, то, что и за Мираж я выходить не собиралась, да он и не делал мне никаких предложений, хотя, в конце концов, всё же потеснил Петровича – наша переписка пошла на убыль.

Теперь думаю: скорей всего, за Миражом, как за щитом, пряталась я от любви – запретной, – которая становилась опасной: вносила раскол в наши семьи, требовала решительных действий, некой точки, а где точка, там скука жизни, там предел для творчества. Мои отношения с Петровичем, видимо, начали исчерпывать себя, показалось дно. Отношения эти больше не давали стихам прежнего огня, а Мираж – давал. Да, Мираж – это был мой щит и неиссякаемый Кастальский ключ!

Петрович, похоже, как всегда, всё понял раньше меня. Но случилось это уже на закате нашей переписки.

*«Своей звездой, своей судьбой, / Своей надеждой одержимый, / Я тем глумилась над тобой, / Что, занятый самим собой, / Я называл тебя любимой. / Когда к губам твою ладонь / Я прижимал, тоской иссушен, / Не жар любви, а злой огонь / Горел во мне, сжигая душу / (...) / Всё проходило – боль, тоска, / Вновь*

*оживая, пели чувства. / И я опять любви искал / В холодном пламени искусства.  
/ Оно диковинным кустом, / Цветами странными вскипало, / А в доме тёмном  
и пустом / Любовь надеяться устала. / А я люблю тебя, поверь! / И я не лгал...  
Но и теперь, / Опережая нашу нежность, / Меня влечёт на круг потерь / Всё  
та же злая неизбежность. / А я люблю... Но, и любя, / Могу я потерять тебя.  
/ Не дай мне, Бог, такого дня, / Такого чёрного мгновенья, / Когда и ты, судьбу  
кляня, / Ни пониманья, ни прощенья / В душе не сыщешь для меня. / Не дай мне  
Бог, такого дня...»*

Это стихотворение-молитву Петрович прислал мне в одном из своих последних писем, в октябре 1984 года. Стихи были и про меня – я тоже искала любви «в холодном пламени искусства», и пламя это вскипало в моей душе «диковинным кустом». Покаянные свои строки Петрович, скорее всего, посвящал не только мне, но и всем женщинам, которых любил, и в первую очередь – жене. Это она «в доме тёмном и пустом» ждала его долгими ночами, это она «надеяться устала», это её измучил он, вступив на круг потерь, куда влекла его «злая неизбежность» творчества. Эта «злая неизбежность», в конце концов, разрушила их семью.

\* \* \*

Таких глубоких и откровенных разговоров, как в письмах, при встрече не получалось, да и виделись мы по большей части в шумных компаниях, в хмельных застольях. А там – какие исповеди? Там – общий трёп. Петровича любили. Он был душой дружеских пирушек. И разобщённые без него, с его приездом мы объединялись. Он умел всех сплотить, собрать за одним столом, провоцировал читать стихи, петь под гитару, и сам хорошо пел, спорить о судьбах литературы. Вели и крамольные политические дискуссии, разве что до революционных заговоров не доходило, а так – почти декабристы, тайное «Южное общество», или тайный союз «Череп и кости», для вступления в который, говорят, надо было принести череп какого-нибудь знаменитого человека. По легенде, ими были обезглавлены покойные Моцарт, Гоголь и кое-кто ещё. Брр! Мы не требовали таких ритуальных жертвоприношений, но кумиры ниспровергались, а им взамен выдвигались свои «первые поэты», «первые прозаики», «первые критики», «первые Музы» – естественно, из тех, кто собрался за столом. Эти, избранные нами, «гиганты мысли и любви» превозносились до небес, купались в море похвал, и хотя, быть может, были далеки от идеала, но такое дружеское обожание, несомненно, поддерживало в творчестве. Случались, конечно, и критические разборки наших книг – такие же безудержные в своей страсти. Тогда мы были ещё чисты сердцем, и критика не воспринималась как личная неприязнь или зависть. Тогда ещё никто не останавливался на горьких строках Пушкина: «Мои друзья, мои враги, что, может быть, одно и то же...» Врагов среди нас не было. Они обитали за пределами нашего «тайного общества», которое я в шутку называла «Тайное общество канареек», потому что молодые наши споры, в самом деле, походили на весеннюю птичью перекличку, но тщились выглядеть как диалоги пророков.

Валерий Михайлов в своей книге о Николае Заболоцком «Иволга, леса отшельница» (в серии «ЖЗЛ») довольно точно, мне кажется, формулирует значение

подобных литературных собраний, помня, наверно, и наши посиделки, наше «тайное общество», в котором он тоже принимал участие:

*«Поэтические посиделки с трудом поддаются достоверному описанию, потому что они сами – поэзия. У такого общения особый воздух: в лучшие свои минуты он буквально искрит. Это атмосфера совместного чувствования и мышления: кипение идей, пылкие речи, подогретые темпераментом, и, разумеется, вином. Остроты, пикировки, споры, смех, песни... Для молодых творцов это просто одно из самых необходимых условий существования...»*

Он приводит цитату одного из современников Н. Заболоцкого:

*«...Велись разговоры и на личные темы, но близость наша была не просто дружбой, а сотворчеством очень разных и очень близких по мироощущению людей...»*

Все эти слова – из 20-х годов прошлого века, вполне можно отнести и к нам – из 70–80-х. Встречались чаще всего в баре Союза писателей «Каламгер». Казахские кинематографисты сняли недавно фильм «Каламгер», где как раз рассказывается о наших сборах и спорах. Там даже утверждается, что молодые казахские писатели 70-х формировали за столиками «Каламгера» основы нынешней независимости Казахстана. Тоже своего рода «Тайное общество канареек», тоже мнили себя пророками. Но они были, несомненно, властителями дум своего поколения. Их книги читали, их мыслями зажигались, их стихи цитировали.

*«Придёт, ещё поэт в наш мир придёт, / С чьих уст правдивых каплет яд и мёд. / Он станет другом душ осиротевших, / Он душу палача перевернёт. / Придёт, ещё поэт в наш мир придёт! / И молниями, посланными свыше, / Его слова зажгутся в небесах. / Немой заговорит, глухой услышит, / Слепой найдёт прозренья в тех словах. / Придёт, ещё поэт в наш мир придёт!»*

Так писал Мукагали Макатаев. И в XIX веке современники Пушкина так же собирались вокруг «Зелёной лампы» или в доме историка Карамзина, или у Вяземского, или в салоне Зинаиды Волконской. Там бывали и будущие заговорщики-декабристы, писавшие стихи. Они так же пророчествовали, так же спорили и со-творяли, как и мы. «Алмаз гранит алмаз» – это было и во времена Гейне. Необходимость в поэтических собраниях вызвана ещё и тем, что поэт всегда чувствует своё одиночество, свою инакость в огромном пространстве обывателей, не-творцов. В молодости чувство это безотчётное, но с возрастом оно обостряется, проявляется, становится печалью. Тот же Н. Заболоцкий в 1944 году пишет жене из ГУЛАГа:

*«Как это ни странно, но после того, как мы расстались, я почти не встречал людей, серьёзно интересующихся литературой. Приходится признать, что литературный мир – это только маленький островок в океане равнодушных к искусству людей...»*

Но не только равнодушные к искусству люди растрavляют душу творца, а со временем и собратья по «литературному миру», разделённые жизнью и всё той же инакостью каждого, о чём с горечью писал Н. Заболоцкий – уже в стихах:

*«Вот сборище друзей, оставленных судьбою: / Противно каждому другого слушать речь, / Не прыгнуть большие вверх, не стать самим собою, / Насмешкой колкою не скинуть скуку с плеч. / Давно оставлен спор, и молча каждый взор / Презреньем полн. Копьём летит в соседа, / Сбивая слово с уст. И молкнет разговор...»*

Теперь и я, с такой же горечью, как Заболоцкий, наблюдаю расхождение прежних друзей-поэтов, отрицание, либо равнодушие к их творчеству. Теперь поэты редко читают друг друга, но ревниво следят за успехами товарищей, к которым в молодости относились с восторгом, теперь же – «Противно каждому другого слышать речь». Но в молодые годы все мы были на одинаковом старте, у всех были равные возможности, а потом кто-то вырвался вперёд, кто-то остановился на полпути, а кого-то сбила с ног стремительная Жизнь. «Мои друзья, мои враги что, может быть, одно и то же...» И только немногие сохранили в своём сердце прежнюю, бескорыстную любовь к Слову давних друзей.

\* \* \*

Петрович родом из глубинной России, из села Ново-Бисовка на Оке. Высокий, с васильковыми глазами, русак, а мне нравились парни с «татаринкой». После окончания технического училища он приехал к нам на Юг, которому посвятил немало пафосных стихотворений. В молодости кем только ни работал: слесарем, электриком, строителем, а к моменту нашего с ним знакомства учился заочно в Литературном институте в Москве и работал литконсультантом у себя на Юге. Было ему уже около сорока лет, а мне под тридцать. Вполне взрослые и давно семейные люди. Правда, Петрович не ладил с женой Алевтиной. Встретились и поженились они совсем молодыми. Алевтина – девушка из простой рабоче-крестьянской семьи. Такой и осталась навсегда, а Петрович изменился, в Москве учился, дружил с Николаем Рубцовым. Алевтина не понимала его творчества – этой, по её разумению, бесполезной дури, и он горевал, всё чаще стал сбегать из дома: куда угодно, лишь бы на волю – к друзьям, к песням под гитару, к умным спорам, к трепетным девушкам, обожавшим его стихи и его самого. Там было интереснее, чем дома, хотя строгая Алевтина дом содержала в образцовом порядке: всегда накормит вкусным обедом – и мужа, и его бесшабашных друзей, родила ему двух чудесных детей.

Нет, сбегал!

Когда приезжал в Алма-Ату, то отправить потом его назад было проблемой. Обычно шумной компанией ехали на вокзал, долго прощались, он не хотел входить в вагон, пока проводница не начинала сердиться, впихивали его уже на ходу поезда. Бежали за вагоном – он свешивался с подножки, рискуя свалиться на рельсы. Проводница толкала его внутрь, пытаясь закрыть дверь. И вот поезд скрывался за поворотом дороги. Всё! Слава Богу! Но мы рано радовались. На следующей станции он выходил. И не успевали мы добраться до кого-нибудь, где Петрович на этот раз останавливался, он был уже там и продолжал прерванное застолье. Так повторялось несколько раз: проводы, возвращение Петровича, снова проводы. Наконец, Петрович всё же уезжал. Но, прибыв к себе на Юг, не сразу шёл домой, а ещё несколько дней колобродил с местными поэтами и хмельными Музами.

Но вот загулы заканчивались, и снова – напряжённая работа за письменным столом, «на галерах», как говорил Петрович. Издание книг. Выступления. Подёнка ради хлеба насущного. Чтение книг – много чтения. Раздумья. Письма. Раздражение, если семья отвлекала от этих занятий. Бедная Алевтина терпела его загулы, его измены, приступы его вдохновения, или страшной творческой немоты – на грани самоубийства, его вечное отсутствие дома. Пора бы поставить памятник жёнам писателей!

## Таинственная страсть

Впервые встретились мы с Петровичем на литературном форуме в Семипалатинске, где в начале 70-х я работала в отделении СП. Тогда СП возглавляли молодые Ануар Алимжанов и Олжас Сулейменов: Ануару было лет 40, а Олжасу – где-то 35-36. Теперь наш СП сильно постарел. Вот Ануар с Олжасом и поставили меня, совсем ещё зелёную, без книг и не члена СП, литкосультантом Межобластного отделения, которое объединяло писателей Семипалатинска, Павлодара и Усть-Каменогорска. Поставили, бросив на съедение графоманам. Председателем был опытный, известный прозаик Медеу Сарсекеев, у которого только что в Москве, в серии «ЖЗЛ», вышла книга о Сатпаеве. Медеу и наставлял меня в единоборстве с местными «гениями». Я, конечно, поначалу трусила – какой я им наставник? Но потом освоилась, тем более что работа оказалась весёлой. Каждый день был похож на праздник в «сумасшедшем доме»: бледный отрок, только что из-под венца, даваясь слюнями, читал мне свою любовную лирику: *«Цуловал тебя я в грудь. / Ты просила отдохнуть, / И изгрыз я, весь в поту, / Платье, плавки и фату»*; вскоре он принёс другие стихи – его семейная лодка разбилась о женское коварство: *«С улыбкой мерзкой на челе / Ты принесла мне в подоле. / Ты брошенка – и поделом: / Зачем трясла ты подолом?!»*; дедок, в детсадовской панамке и пимах, с пафосом декламировал: *«Я иду у вершину, и гляжу у низ. / Будя, будя, будя, / Будя коммунизм!»*; студент-медик написал роман о бурных похождениях сперматозоида Николая, а другой сочинитель радовал меня своими бодрими гимнами: *«А я, весёлый и задорный, / Стихи читая на ходу, / По направлению к уборной / И днём, и вечером иду!»*

Были, конечно, и талантливые люди – краса и гордость нашего литобъединения «Иртышские огоньки», о чем я неоднократно писала. «Иртышские огоньки» когда-то придумал замечательный поэт Семён Анисимов. При мне литобъединение отличалось от других тем, что это был, по сути, клуб равноправных любителей литературы – без руководителя. Я в руководители не годилась, мои стихи народ разбирал по косточкам так же беспощадно, как и я их, а вот Медеу по-настоящему воспитывал казахских авторов. Самый заметный из них – Марат Султанбеков, который писал стихи, а потом занялся исследованием творчества Абая, Шакарима и других учеников нашего великого земляка. Был среди воспитанников Медеу и известный ныне прозаик Ролан Сейсенбаев, который много лет устраивал фестивали Абая, открыл Дом Абая в Лондоне, постоянно печатал материалы об Абае в своём журнале «Аманат». Неважно, что Марат и Ролан пишут по-русски, душой-то остаются казахами, и доказали это своими книгами. Так же и я – писала и пишу много о казахской земле, о казахам, которых люблю, с рождения жила среди них (и два века до меня мои предки), но всегда остаюсь русской. Медеу об одном горевал, что талантливый Ролан тороплив, мало работает над словом, слишком увлечён окололитературной суетой и славой. Сам Медеу, высокий, красивый человек с благородными чертами лица, всю жизнь провёл в тихом Семипалатинске, за письменным столом, и никогда не искал почестей и наград. Я его очень уважаю.

С радостью вспоминаю я моих товарищей. Вот Женя Титаев – автор произведений поэзии и прозы, которые печатались и у нас в республике, и в других странах.



в том числе его документальная повесть «Журавли над полигоном», которую он написал на основе собственного опыта: юным выпускником медучилища он проходил практику на Семипалатинском ядерном полигоне, где получил изрядную дозу радиации, которая даёт о себе знать до сих пор, но такая сила духа в Жене, что он уже много лет преодолевает свои недуги, живёт полной, творческой жизнью, пишет книги, стал членом СП Казахстана. Вот Коля Алексеев – царствие ему небесное! – русский человек, но с казахской кровью, и это доказывали его широкие скулы и узкие глаза. Он также член СП, автор поэтических сборников, жил на Красном кордоне, в сосновом бору, держал хозяйство, мы у него на кордоне иногда устраивали литературные маёвки; однажды, наслушавшись наших стихов, корова Алексеева упала в погреб. Вот Саша Кузнецов – историк по профессии, у него в книгах – историческая тематика, у него стихи, полные боли о русских, рассеянных по свету, к которым так неласкова Россия; как-то, собрав денег, Саша поехал в Москву, чтобы плюнуть на могилу Ельцина, который развалил СССР, который устроил «лихие 90-е», ставшие символом разрухи и нищеты. Назад вернулся с орденом Сталина от русских патриотов и чемоданом медалей, отчеканенных Московской писательской организацией к её юбилею. Возглавляет СП Москвы наш земляк, так что он от души отсыпал Саше Кузнецову этих медалей. Теперь весь Семипалатинск их носит. Был в «Иртышских огоньках» ещё Костя Рубцов – он стал учёным-филологом и критиком – его, к сожалению, тоже нет уже в живых. Любили мы слушать стихи Володи Сулыгина, тонкие, трепетные, пронизанные духовными поисками. А вот Люба Бороховская и Ольга Бондарчук (Соколова). Ольга 17-летней девочкой, учащейся балетной школы, попала под поезд, лишившись ноги и рук, прошла через страшную жизнь в инвалидных домах, но не сдалась: чудом вырвалась оттуда, выучилась заочно в московском Институте культуры, организовала театр в деревне Бородулиха, где поначалу жила, вышла замуж за одного из своих актёров, родила троих детей, писала чудесные стихи и прозу, потом переселилась в Горный Алтай и там прославилась, издав книги. Синеглазая красавица, она носила пёстрые мексиканские пончо, и потому не видно было, что без рук. Приспособилась писать, шить, и даже доила корову, живя в деревне. Был ещё Вячеслав Кобрин – он стал активистом антиядерного движения «Невада – Семипалатинск», писал поэмы об этом, полные гражданского гнева, ходил с Олжасом Сулейменовым по степи вблизи Чингисских гор с поднятыми вверх и открытыми ладонями: древний знак мира – в руках нет оружия, они повернуты к солнцу. Вот так ходили они, ходили, и полигон-таки закрыли. Большой, чрезмерно красивый, к старости Кобрин отрастил бороду до пупа и выглядел очень монументально. Нельзя забыть и двух Володь: Володю Базанова и Володю Бояринова – они были почти мэтры, потому что учились в Московском литинституте и печатались в Москве. Базанова уже нет, он даже и книг не успел издать, а Бояринов автор многих книг – он прославился, стал известным в России поэтом и переводчиком, секретарём Московской писательской организации, а в 70-е к нам на литобъединение приезжал в пимах и полушубке, из деревни Ново-Покровка, где тогда учительствовал, кроме того, владел коровой и ослом. Яркой и незабываемой личностью была Таня Азовская – настоящая уральская казачка: её предки когда-то ходили в восточные походы, брали Азов, и фамилию свою оттуда привезли. Танька ходила только в литературные походы. Она тоже известная, и с книгами, и член СП, а тогда была совсем юной, только

что окончившей журфак КазГУ и работала в областной газете «Иртыш». Танька весёлая, рассказывала хохмы о главном редакторе Якове Васильевиче Савинкове: на утренних планёрках, распекая сотрудников, он требовал: «Пришёл на работу – отдайся!» Тут же появился экспромт – в стенгазете «Литературная дуэль» нашего литобъединения:

*«А Савинков был строгих правил: / Когда не в шутку занемог, / Он отдаваться всех заставил, / Так как отдать сам не мог!.. / Таня, друг, и всегда, и отныне Ты завет Савинкова крепи: / Отдавайся в телеге, в овине, / И под стогом, ночуя в степи...» и т. д.*

Танька на столе в редакции держала листок с цифрами: сколько ей осталось до пенсии. И каждый вечер вычёркивала прожитый день. Как я её понимала! В молодости очень хочется на пенсию. Мне тогда нравился один англичанин-чужак, который решил баллотироваться в английский парламент. Он выступил с таким обещанием: если его выберут, то он тут же издаст Закон, по которому люди 8 часов будут спать, 8 часов отдыхать, остальное время – свободное.

Ах, Танька, Танька! Вот и тебя уже нет. Как же так? Не верю...

\* \* \*

В 70-е годы все были живы, и у нас в Семипалатинске собрались на литературный форум писатели – со всей республики приехали, и даже из Москвы и Ленинграда. Я, конечно, сразу заметила красавца Петровича. И все заметили. Литературные девушки тут же взяли его в плотное кольцо – не подступиться. Я и не поступалась.

На форуме он и как поэт лидировал, соперничая с другим ярким поэтом, который с детским простодушием именовал себя Гением. Я намеренно не называю их настоящих имён. Новым поколениям они, увы, уже ничего не скажут. Да и дело не в именах – дело в характерах и судьбах. Обычно только это интересно.

Как-то писателя Василия Аксенова, который написал роман «Таинственная страсть» – о своей молодости, о друзьях-шестидесятниках: поэтах Евгении Евтушенко, Роберте Рождественском, Белле Ахмадулиной, Андрее Вознесенском, Булате Окуджаве – спросили: правда или не правда всё, что он о них рассказал? И зачем спрятал за вымышленными именами? Аксёнов не мог ответить однозначно. «Так было или не было?» – «И было, и не было...», – сказал он задумчиво. И это ответ не хроникёра, а художника. И образы поэтов в его мемуарном романе – не фотографии, а художественные портреты тех, кто был охвачен «таинственной страстью» творчества, а «таинственная» – потому что это неразгаданная тайна, не понятная и самому поэту, это огонь, сошедший с небес и пронзивший душу, которая запела стихами. Аксёнов писал Время, литературную среду, и показывал типажи того Времени и той среды, как и Валентин Катаев в романе «Алмазный мой венец», как и Андрей Белый в романе «Петербург», как Ирина Одоевцева в своих книгах «На берегах Невы» и «На берегах Сены», как Илья Эренбург в книге «Люди, годы, жизнь», и многие другие, кто брался за подобные мемуары. И у меня типажи, хотя, в то же время, это реальные люди, и события – реальные. Да и вообще, как говорил Бунин в рассказе «Сны Чанга»: *«Не всё ли равно, про кого говорить, заслуживает того каждый из живших на земле...»*



Петрович и Гений отличались, как день и ночь. Петрович – блондин с васильковыми глазами, Гений – смуглый, с горящими, тёмными очами. И о Петровиче, и о Гении писали восторженные рецензии, много печатали, издавали книги, когда издаться было крайне трудно. В издательствах окопалось старшее поколение, закалённое в борьбе революций и войн, и не подпускало идеологически нестойкую молодёжь к печатному станку, а кто всё же пробивался сквозь огонь ветеранов проходил жесточайший отбор, чуть ли не тройную цензуру: редактор, внутренняя рецензия какого-нибудь желчного писателя, который пишет рецензии из нужды и ненавидит эту унижительную подёнщину, цензура Госкомиздата. Петрович с Гением легко проскакивали издательских церберов.

Гений мне нравился больше, чем Петрович (и стихами, и сам по себе – с «татаринкой»!), да и познакомились мы с Гением раньше, и я успела полюбить и его творчество, и самого Гения – совершенного сумасброда. У Петровича в стихах всё же много тогда было гражданского пафоса, риторики, сюжетных поэм – зарифмованной прозы «под Твардовского», правда, в книгах его чувствовался эпический размах, который не находил пока гармоничной формы.

Не один Петрович грешил этими, так называемыми, «стихами-паровозами», которые вывозили книги через редакционные тоннели. Того требовала советская идеология и всячески поощряла. Пройдёт время, ура-советские ритмы перестанут раздражать читателя, и тогда, может быть, в фабрично-заводских поэмах вдруг обнаружится поэзия, которую мы там не видели. Кто знает, что будет? А вдруг в новых веках поэзии станет так же не хватать, как теперь не хватает чистой воды и чистого воздуха? И каждая капля поэзии сделается драгоценной.

Петрович от лозунговой лирики отказался только в конце жизни, тогда и появились у него настоящие стихи – с музыкой вдохновения, щемящей болью, тоской по России. Их немного, но они есть. Так что дело всё же не в цензуре и «паровозах», а во внутренней свободе. Во все времена, даже при самой чёрной реакции, даже под страхом смерти, поэты были свободны в своём творчестве, и давали отчёт только Богу: *«Веленью Божию, о Муза, будь послушна!»*

Гений как раз следовал этому пушкинскому призыву, и никогда не писал на «злобу дня». Хотя реалии современности были, конечно, и у него, однако он не был фиксатором сиюминутности. Современность он рассматривал непременно через историческую перспективу, и тогда явственно проступали причинно-следственные связи минувших и нынешних событий, а ещё это были картины самобытного художника. Однажды примчался ко мне с горящими от возбуждения глазами:

– Давай немедленно поцелуемся!

– Да что случилось?

– Война во Вьетнаме закончилась! Понимаешь, закончилась!

В стихах об этом он напрямую не сказал, но восторг, перемешанный с болью, зажгёт его вдохновение – это бесспорно, и отблеск Вьетнамской войны всё же был в его строках тех дней: он написал своего «Аттилу»:

*«...Он там, где не ждали его, / То с фланга, то с фронта, то с тыла, / Всегда  
неожидан Аттила, / И в этом его торжество. / Пока виноградарь сливал / В кув-  
шины кровавые вина, / А пахарь зерно собирал / Под осень в сухие овины, / Пока  
земледельцу жена / Рожала погодков-горланов, / Свистели среди табуна / Колючие  
петли арканов. / Пока среди дремлющих сёл / Слагались негромкие песни, / И нёс*

*свою ношу осёл / По долам, по сёлам, по весям, / Пока белизною ящ / Корзина гнезда вас манила, / Хмельным молоком кобылиц / Был вскормлен и вспоен Аттила. / Пока собирали вы дань, / Народы, с пчелы, с огорода, / На лошади быструю лань / Загнать мог стрелок безбородый. / На светлый овёс и на рожь / Обрушились кони, крылаты – / Был начат великий грабёж / И пашен, и меди, и злата. / Природа, что нас родила, / Вскормила, взрастила, вспоила, – / Пошла, закусив удила, / С наездником конным – Аттилой. / Случайный ли звук виноват, / Но в коннице этой крылатой / Мне слышится древнее – ат / И современное – атом...»*

«Ат» – у тюрков «конь», а также боевой клич. «Аттила» – конный человек, наездник. Гений – геолог, он работал с историей земли, и увидел трагическую связь между гуннами древности и современными «гуннами», суть которых одна: «великий грабёж», только раньше для захвата чужих богатств и земель нужна была крылатая конница, теперь же в ход пущен атом: американские солдаты вьетнамцев сжигали напалмом, и когда мы смотрели по телевидению эти кадры кинохроники, то кожа горела и у нас.

А Гений уже остужал смертельный огонь видением белых лебедей – небесных созданий, похожих на Архангелов, парящих над мировым злом:

*«...Времени неподвластна, / Злу и людской вражде, / Плавает лебедь прекрасная / По нейтральной воде. / Две стороны враждебные / Молча свели стволы. / Белые гуси-лебеди – / Парламентёры вы. / Это крыло вставало / Грозным щитом всегда, / Если одна держава / Жгла в другой города. / И на высоких стенах / Щит архангельских крыл: / Мужество и нетленность / Мастер изобразил...»*

Тут всепобеждающая сила Бога в образе посланца его – белого лебедя (это любимый образ Гения), и великая сила искусства. Гений соединил их. Связь эта была для него бесспорной. Чувства и картины бытия – от самых древних до самых новейших – всегда современны, потому что неизбежно прочитываются в контексте своего Времени. Нашла у художника Сальвадора Дали:

«Не старайся быть современным. Это единственное, чего тебе, к сожалению, не удастся избежать, что бы ты ни делал».

### «Поэзия юных земель...»

В отличие от пафосного Петровича, Гений не писал «стихов-паровозов». Его одолевала другая крайность: страсть к географическим названиям, и он ими переполнял свои стихи, и не мог насытиться, горевал:

*«Как мало я знаю Россию – / Закончится время моё, / А я всё никак не осилю / Большие пространства её. / Всё больше бывал у окраин, / Грузинские видел холмы, / И, кажется, всё не оттаял / От нашей сибирской зимы...»*

Коренной сибиряк, геофизик по профессии, он много странствовал с геологическими партиями, и географию знал хорошо, ещё, конечно, геологию. «По профессии был я старатель, я опасное дело любил, – признавался он. – На таёжной речушке Кундате / я весёлое золото мыл...» Он видел не раз, как «На хвойный склон Хамар-Дабана с утра взбирается медведь. / К чему ему руда титана, железо, олово и медь?» Медведю, ясное дело, ни к чему, а вот рудознатец и поэт Гений извлекал поэзию даже из мёртвых камней. Не знаю, намыл ли он золота в таёжных реках, а стихи добыл и там, преодолевая разные опасности. В том же Хамар-Дабане, где видел он медведя, мог запросто пропасть: эти места сакральные, там, по легенде,

находится один из входов в мистическую Шамбалу (есть ещё на Алтае), и вход этот охраняют горные духи, и появляются в небе странные огни, похожие на НЛО, и гудят горы, и ядовитые газы выходят из земли, под которой плавится магма, и люди впадают в безумие, но Гений живым спустился с Саян – с гор невиданной красоты и силы. Бродил по непроходимой тайге, проваливаясь в волчьи ямы, сплавлялся на плотах по бурным рекам Сибири и однажды чуть не утонул в Катунь. В своей мемуарной книге «Слушая реки и травы» он писал, как боролся с волнами горной тигрицы-реки, слыша крики погибающих товарищей, *«и это было самое страшное, потому что я ничем не мог помочь им. Абсолютно ничем. Течение в Катунь в том месте настолько бешеное, что за несколько секунд паром оказался Бог знает где – рухнул вниз на ближайшем водопаде. И тут стало страшно. Я бегал по берегу в надежде встретить кого-нибудь из ребят. Жуткая тишина. И только внизу слышался шум Катунь. Вроде бы тучи рассеивались, появились звёзды.*

*Когда я вспоминаю стихотворение М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» – высочайшее проявление поэтического гения – перед моими глазами стоит единственный «кремнистый путь» – дорога вдоль Катунь вблизи роковой переправы. Не дай Бог никому испытать то чувство одиночества и отчаянья, которое охватило меня, когда выбрался я на эту дорогу...»*

Он спал в степи, на кошке, окружённый варанами и каракуртами, любуясь ночным небом – опрокинутой звёздной чашей. Потом появлялись стихи. Шёл по следам учёного-геолога и путешественника Мушкетова, создавшего первую геологическую карту Туркестана. Книгу о нём написал.

Как утверждал Гений, именно геология учила его не только «оценивать пески и скалы», но и *«шелуху пустых словес отбрасывать от минералов»*. В своих книгах он то и дело говорит о родстве геологии, т. е. науки о земле, и Слова – науки о душе. Он вспоминает строки Тютчева, которые поставил эпиграфом к основному труду своей жизни «О ноосфере» В. И. Вернадский: *«Дума за думой, волна за волной – / Два проявленья стихии одной»*.

*«Именно интуиция великого поэта, – утверждал Гений, – способствовала зарождению нового направления в науке – о геологической деятельности человека и разрушительной силе неконтролируемого человеческого мозга (атеизм). Вернадский, а впервые поэт Тютчев, высказали эту мысль задолго до создания атомной бомбы и безумного её испытания на головах бедных японцев»*.

И развивая дальше эту мысль, Гений говорил уже определённо:

*«Великая поэзия всегда соседствует с великой наукой, а великая наука черпает новые силы в божественном откровении поэтического гения. Это не совпадение, а закон всеобщей гармонии...»*

И так, одним махом, разрешил давний спор о физиках и лириках, *«алгеброй поверяя гармонию»*. Он считал, что тайны Вселенной находятся не в далёких Галактиках, не в безднах Космоса, а в самом человеке, и потому духовные возможности человека беспредельны, но всякий человек неотрывен от Природы, от той земли, где живёт, где предки его жили. И питали Слово Гения не только музыка небесных сфер, но и «поэзия юных земель»: *«...Мне хватит на книгу и больше / Поэзии юных земель – / От поля, звенящего в Польше, / До скрипа поллярных саней...»* Книги его, как я уже говорила, переполнены географическими названиями, в самом звучании которых он находил для себя тайники поэзии, отголоски исторических эпох, как и в названиях цветов и трав пытался разглядеть

какие пласты лежат под ними и какие бездны сияют над ними. Он легко читал свою родословную по корням растений, по полёту птиц, по рудоносным жилам и понятной ему речи степных и таёжных рек – по всей живой Природе, наполненной глаголами. Он, по-моему, навсегда остался язычником. Хотя к концу жизни и говорил постоянно о христианском Боге, но продолжал поклоняться деревьям в лесу, солнцу, небесам и волнистым водам, и всем сущим на этой земле: *«Они же родословная моя – / Змея и лань, и беленький ягнёнок...»*

А была ещё одна страсть – *«Ищу я давние истоки / Ремёсел, чисел, слов, имён...»* За ними он тоже охотился, и нашёл немало ценных залежей в недрах русской речи, в памяти степных кочевников и других народов. Почти в каждом стихотворении он играет со словом, вслушивается в него, перекачивает на языке, как цветной камешек, извлекает из слова образ стихотворения, *«музыку дивных созвучий»*.

Каждое лето отправлялся он в экспедиции. Шутил про себя: *«Дурная голова ногам покоя не даёт!»* Возвращался к зиме – загорелый, в клетчатой рубашке, возбуждённый впечатлениями от своего похода. Он был тогда необыкновенно хорош! Неизвестно, сколько бы ещё бродил по свету, если бы в казахской степи, на берегу озера Бурабай не услышал легенду «Окжетпес» («Не долетит стрела»), и книгу свою так назвал – «Окжетпес». Кстати, с книгой этой случился один замечательный курьёз: в книжных магазинах она стояла на одной полке с литературой на казахском языке.

Легенда возникла не на пустом месте, а связана с нею реальная, и, конечно же, романтическая история. В посёлке Бурабай есть скала – Окжетпес. Эта скала и эта история остановили нашего Гения в его бесконечных походах, надолго привязали к Казахстану, где он состоялся как поэт. Вот вкратце содержание легенды (её излагает в прозаической части своей книги «Окжетпес» Гений):

*«По преданиям, возле озера Бурабай была ставка хана Аблая. После одного из удачных походов, здесь, у гранитного утёса, устроил старый хан великий той – праздник дележа добычи, конных скачек, состязаний в военном искусстве.*

*Самой ценной добычей и призом для победителя была пленная красавица, дочь одного из калмыцких вождей. Не один джигит пытался добыть руку калмычки, но все стрелы падали, не долетев до вершины утёса, где трепетал на древке синий платок прекрасной пленницы.*

*Поэтическое решение легенды таково: девушку по воле сильнейшего рыцаря, наделённого умом и поэтическим воображением, отсылают к отцу в родные при-волжские степи...»*

Гений, как поэт и романтик, был поражён красотой и благородством легенды, и прежде книги «Окжетпес» написал стихотворение «Поэзия скал» («Хан»), где всё о том же – о стреле, которая так и не долетела до вершины неприступной скалы, о недостижимой и манящей мечте, о вечной охоте влюблённого мужчины-рыцаря, который отпускает на волю свою добычу, потому что для него важен не трофей, а сама охота. О вечной поэзии.

Герой стихотворения, кочевник-хан, сжёг деревянные мосты Москвы, ходил по дворцам покорённой Бухары, дошёл до китайской стены, нарядив свою свиту в шелка.

*«А когда стал очень силён, / И устал от вниманья жён, / Он приехал один, на коне, / К не пробитой стрелой скале. / Знатный хан повода опустил. / Знатный хан коня отпустил. / Перед этой немой скалой / С непокрытой стоял головой...»*

Вот и Гений – навсегда отпустил своего походного «коня», и на долгие годы остановился у скал казахской степи, влюбившись в её легенды, полные поэзии и диковатой страсти. Поэзия его всегда завораживала. Он, как прирождённый охотник добычу, чуял поэзию издалека, и ради неё готов был на любые порывы и сумасбродства.

Смуглый, кудрявый, с огненным взглядом, он почти всегда был весел, если не впадал в ярость и не дрался, что с ним иногда случалось. Нередко эпатировал публику, и, прежде всего, когда во всеуслышание говорил о себе: «Я – гений!» (ну, мы это уже проходили: «Я – гений, Игорь Северянин!») – так подшучивали над поэтом друзья), или заявлялся в бар Союза писателей «Каламгер» в ямщицком полушубке, надетом на голое тело. Читал кубинским студенткам, которые любили заходить в наш бар, стихи, а они угощали его кофе. В следующий раз уже Гений угощал кубинок, заняв деньги у кого-нибудь, а чаще всего брал в долг у барменш Веры (незабвенной Рымкеш!) или Розы. По этому поводу поэтом Валерием Антоновым был даже сочинён ироничный стишок:

*Он сказал мне на полном серьёзе,  
Что он должен не Вере, а Розе,  
Но я знаю на личном примере,  
Что он должен и Розе, и Вере.*

И всё же, несмотря на свою эпатажность, Гений был очень щепетилен с долгами, и долги всегда отдавал – и большие, и копеечные, что было редкостью среди поэтов.

Как-то мы с кубинками пошли в кинотеатр – смотрели нашумевший фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Фильм этот даже получил престижную премию «Оскар» – впервые для СССР. Кубинки плакали:

– Какой жизненный фильм! У нас на Кубе полно таких историй...

Недавно по ТВ я смотрела передачу к юбилею этого фильма, и исполнительница главной роли – эмансипированной девушки Кати Тихомировой – Вера Алентова вспоминала, что во всех странах к ней подходили женщины и говорили, что судьба Кати похожа на их судьбу. Но более всего Алентову удивила папуаска с кольцом в носу из Гвинеи, которая тоже узнала в Кате себя.

Кубинки звали Гения «Perino verde» – «Зелёный Огурец», за его двустиишие: «*Как хорошо быть молодцом, / Хрустя зелёным огурцом*». Увы! Прекрасные стихи Гения теперь уже никто не цитирует, зато этот весёлый стишок знают многие. А был ведь Гений в 70–80-х годах первым среди русских поэтов республики! «*Предугадать нам не дано, как слово наше отзовется...*» Но ведь Времена ещё не закончились, а читательская любовь похожа на морские волны: приливы-отливы, и, возможно, однажды о Гении снова вспомнят, как через столетие вспомнили об Афанасии Фете и Фёдоре Тютчеве, как через сто пятьдесят лет вспомнили о Данте Алигьери...

### Божественная глина

Меня Гений высмотрел в журнале «Простор», где напечатали мои стихи. В одном из них были такие строки (всё стихотворение я уже не помню):

*«Далеко-далеко за полем / Струи светлых дождей взошли. / Звёздный ковчег  
дождями наполнен – / Краем клонится до земли. / И на мокрой земле сверкает /  
Иней выпавшего пера. / Так со мною весной бывает: / Всё неясно...», и т. д.*

Гений меня разыскал. Говорил, захлёбываясь словами, какой невероятный образ я нашла, повторял то и дело: *«И на мокрой земле сверкает / Иней выпавшего пера...»* Ты сама не понимаешь, что ты написала! *«Иней выпавшего пера»!* Это же... Это же никто так не сказал... Как ты понимаешь поэзию! Как понимаешь!»

С тех пор я стала поверенной его творческих дел и первой слушательницей его новых стихов. Он по-прежнему восхищался мной, но уже только как женщиной и хвалителем его сочинений. На восторги не скупился, однажды даже сравнил мой облик с иконописным ликом, а то называл половецкой княжной. Когда все сравнения кончались, говорил о моей спине: *«У тебя такая красивая спина!»* Ещё бы! У меня с детства искривление позвоночника, потому что я на коромысле таскала тяжёлые ведра с водой, а также – ведрами – уголь в сарайку, но Гений не унимался: *«У тебя такая красивая спина!»*. Я, конечно, хохотала, а он краснел. Что же касается моих виршей, то сокрушённо вздыхал:

– Нет, тебе не надо писать. Кроме одной строки про «иней пера» и нет ничего. К тому же, у тебя такие тонкие руки – поэзию не поднять... Это под силу только мне! Не пиши! Да и ни черта ты в поэзии не понимаешь, потому что женщина!

Но потом спохватывался, предлагал помощь в продвижении моих стихов. Я гордо отказывалась: чтобы не думал, будто дружу с ним ради его покровительства! Он легко принимал мой отказ, и, кажется, даже был рад этому. Глядел снова влюблёнными глазами, читал взахлёб:

*«Всё золото всего земного шара / Рассеяно по солнечному дну, / Чтоб где-нибудь в долине Зеравшана / Попасть в ладонь к простому чабану. / В реке весенней он расстелит шкуру – / Густая шерсть на золотом пути! / Найдётся, из чего царю Тимуру / В казну пустую золото трясти. / По южным склонам разбредутся козы, / Куст виноградный, лакомый найдут, / Съедят все ягоды, обгложут лозы – / И мёртвым сном на пастбище уснут. / Пастух придёт в убогую лачугу, / Остудит губы в розовом вине, / И перескажет молодому другу / Забытый миф о золотом руне...»*

Он был прекрасен в такие мгновенья, и я не скрывала восторга, а он воодушевлялся ещё больше, кричал:

– Правда же, я гений?!

Так же в минуты творческого экстаза кричал Пушкин: *«Ай, да Пушкин! Ай, да сукин сын!»* А ровесник его, но, на самом деле, много старше поведением, лицейский друг Дельвиг писал поэту в Михайловское: *«Великий Пушкин, маленькое дитя!..»* Вот и наш Гений: был и велик, и маленькое дитя. Как все поэты похожи друг на друга! Это особый народ, отдельный от остального – нормального – человечества. Или всё же ненормального?

Однажды зимой, когда я жила ещё в Семипалатинске, он прилетел туда, пробиваясь сквозь метель, как Дельвиг к Пушкину в Михайловское. Только у нас всё было наоборот: «Пушкин» пробивался к «Дельвику». Звонит из аэропорта:

– Я сижу в сугробе, быстрее приезжай!

Я примчалась в аэропорт. Он действительно сидел в сугробе – на лавочке, окружённой высоченными снежными горами. Ослепительной белизной блистал аэродром, где стоял тархтящий самолёт. Солнце огромным белым шаром висело в небе. Воскресный день пах свежей сосной, праздником – на площади перед аэропортом устанавливали новогоднюю ёлку. Я кинулась к Гению:

– Ты что здесь? Зачем прилетел?



– Просто так, тебя увидеть захотелось... Да вот ещё стихи написал...

И он потащил меня в аэропортовский буфет, купил вина и тут же начал читать. Я запомнила только обрывки тех стихов, строфы, которые сразу прилепились ко мне:

*«Что ты, милая, мне куковала, / Что ты, юная птица, лгала? / Горевала душа, пустовала / И привольно на свете жила. / С крыши спускалось ночей черноземье, / Небосвод, словно луг, расцветал. / И в высокое это безмолвье / Я заветное имя шептал. / До утра удивлённые выси / Отражались в бессонных глазах. / Осторожные чёрные рыси / Темнотой дышали в лесах. / По утрам это мокрое солнце / У сосновой, у крайней избы, / Словно конь, а, подумать – не сон ли? / Поднималось с земли на дыбы...»*

Ещё это, что стало потом стихотворением «Звёздная чаша»:

*«...Я душу открыл небесам, (...) / Восторженным верил глазам (...) / Ведь я ликовал, ликовал, / Взирая на звёздное небо, / В восторге немом целовал / И губы, и корочку хлеба. (...) / И, видно, ещё не до дна / Мной выпита звёздная чаша...»*

И это:

*«Лучшая, лучшая в мире! Небо с огромной луной. / (...) / Пей этот воздух бесценный, / Пробуй прохладу на зуб. / Звёзды горят во Вселенной. / Губы касаются губ. / Лучшая, лучшая в мире, / Хрупкая детскость души...»*

И в тон этим строкам – почти детская песенка-скороговорка:

*Выходила глухариха,  
Выводила глухарят,  
Говорила тихо-тихо,  
Так нигде не говорят...*

А следом:

*«Коль были на свете ангелы, / Весною, в светлые дни, / Где-нибудь под Архангельском / Спускались с неба они. / Как с верфей, в холодные воды, / Высокие птицы сошли:*

*Лебеди-мореходы,  
Лебеди-корабли...»*

И много ещё стихов – и готовых, и в набросках. Это был каскад поэтических высверков, поток вдохновения. Всегда, когда Гений читал – а читал он хорошо, без этих нудных завываний, чем грешат иные поэты, – лицо его озарялось особым светом, как тёмное небо порой озаряется скрытым во мраке сиянием. Сияние это зажигало тебя восторгом – до слёз.

– Ну, как? Ведь я же гений! – глаза его горели сумасшедшим огнём: он всё ещё видел этих летящих лебедей, и я их видела. Всю ночь мела метель, и мне грезились эти белые лебеди, и бродили какие-то неясные строки о них, а Гений взял и написал. Я, конечно же, была в восторге, и расцеловала его. Счастливый, он подхватил потрёпанный портфель:

– Ну, ладно! Я полетел! Пока!

– Куда полетел? Ты же только что прилетел?

– Не только что, а час назад.

– Ты что, прилетал всего на час? Зачем?

– Я же сказал: тебя увидеть и стихи прочитать.

– Вот ненормальный!

Но он уже мчался по лётному полю к самолёту на Алма-Ату. Гений часто приезжал в Семипалатинск – там у него жил сын от первого брака, Гений навещал сына, а заодно и меня.

Мои стихи он никогда не слушал, да я и не читала, быстро сообразив, что нужна ему, как эхо на его чудесную поэзию. Не особо нуждался он и в моей критике. Когда читал свои стихи, чувствовалось, что в нём не остыл ещё вулканический взрыв вдохновения. Потом поэт сам отделит этот живой огонь от мёртвой лавы и пепла. А пока – пока он был охвачен жарким дыханием поэтической стихии. В нём кипела и плавилась та самая божественная глина, из которой был слеплен первый человек. Переполюнявивший его восторг надо было куда-то перелить, иначе он мог разорвать. И тут нужна была я. Я это понимала и с радостью соглашалась быть сосудом и для эха, и для лишнего огня.

У нас с Гением начал завязываться роман – совершенно сумбурный, с такими вот его внезапными приездами, с бессвязной речью по телефону, когда он не справлялся с потоком слов – они опережали его язык. У кого же ещё была похожая речь? Дай вспомню... Ну, конечно же, снова у Пушкина! Ах, Пушкин! Ты несравненен, а мы с тобой всё сравниваем и сравниваем...

«...В рассказах Пушкина не было последовательности, всё как будто в разрыве и очерках, но разговор его всегда был одушевлён и полон начатков мысли», – так писал о поэте его брат, Лев Сергеевич Пушкин, который и сам писал стихи, но стеснялся их печатать, чтобы не ронять великое имя «Пушкин». Правда, у Гения речь порою бывала настолько непоследовательной и парадоксальной, что беседовать с ним было трудновато, и всё время приходилось быть в напряжении, будто мы ехали в карете по колдобинам и в любой момент могли вылететь из неё или свалиться в овраг вместе с лошадьми. Но наш сибирский Гений родился с певческой струной внутри, а для меня это главное. Он рано начал различать высокие глаголы: в полёте утренних стрижей, в течении рек, в ночном оркестре сверчков, в цветении алого шиповника, в смехе босоногой девушки – девушек он любил восторженной, юношеской любовью. Может, потому так легко было читать его стихи – и так сложно разговаривать с ним, ведь он при этом как бы всё время смотрел в некое незримое зеркало, и оно отгораживало его от собеседника. В зеркале этом он видел «своё», и это «своё» не мог передать прозаическим, бытовым языком, потому речь его часто бывала невнятна и косноязычна, но когда начинали в нём петь стихи – язык его преображался, речь становилась прекрасной и одухотворённой. В стихах он мог выразить всё, выразить столько, сколько обычная человеческая речь передать не в силах, потому что это возможно только в состоянии вдохновения: там не было риторических мыслей или словесных формул – там была только Музыка. Поток Музыки!

*«Покинул я тесные стены. / И вышел. У моря, у ног – / Шипящая белая пена / Ложилась на белый песок. / Морская, живая стихия – / Гармония звёзд и воды. / Останки каких-то флотилий. / Размытые чьи-то следы. / Живое морское дыханье – / На берег взбегала волна, / И душу в пустынные камни, / И голос вдыхала она...»*

Ради таких строк я многое ему прощала: и его самовлюблённость, и равнодушие к моим стихам, и его эпатажность. Он, например, мог прийти в бар Союза писателей в брюках, надетых на левую сторону – с саржевым подкладом наружу, в косо застёгнутой рубашке, в разных носках, или вовсе без них, и в таком виде объясняться мне в любви, а заодно и смешливым кубинкам. А то притащит кор-

зину грибов – он был заядлым грибником и часто ходил в горы с этой корзинкой. Сырыми сыроежками закусывал коньяк, и нам предлагал, но героев не находилось. В девяностые годы, оставшись без работы, он кормил семью грибами и лесными ягодами. Жена его, Людмила, стойко переносила тяготы судьбы, никогда не скандалила, не выясняла с ним отношения – по крайней мере, на людях, как иные литературные жёны, не тащила за шиворот из бара. А то бывало ещё в нашей литературной среде такое: жёны поэтов врывались в Дом творчества, который располагался в живописном месте, около пригородного совхоза «Горный Гигант», и начиналось побоище, которое мы называли «Избиение Муз». Музы летели из окон, с воплями неслись по этажам, спасаясь кто где, вступали в рукопашную с разъярёнными матронами.

Людмила никогда не участвовала в подобных разборках. Да и Гений, каким бы широким ни был загул, всегда торопился домой к назначенному часу:

– Мне пора моего Алёшку на горшок сажать!

Алёшка – сын. И хоть на бровях, но Гений непременно добирался до дома, к маленькому сыну и дочке Танюшке. Рассказывал, что вот сажал и сажал он Алёшку на горшок, потом как-то вышел утром на кухню воды попить, глядит – мужик там какой-то, тоже воду пьёт: чёрный, лохматый, как «армян». Он так и сказал: «как армян». Оказалось, это быстро повзрослевший сын Алёшка.

### Рядом с Пушкиным

В своей книге «Слушая реки и травы» Гений вспоминает, как впервые «произнёс главное в жизни слово – «Люблю», и стал писать сразу поэму «Краски». А началось всё с потрясения: он узнал, что станет отцом:

*«...Необъяснимое волнение захлестнуло всё моё существо. Наспех натянул верхнюю одежду, и, по-моему, в чём был, прямо в носках, вышел на зимний двор. И стал ходить, не помня себя. И вдруг – всё преобразилось. Не стало засыпанного угольной пылью дворика, покосившегося деревянного крыльца с карнизом, дома с тёмными окнами, всей той примитивности и убогости, которая окружала меня последнее время.*

*Я краски люблю –*

*Яблоко сочное.*

*Я их ловлю,*

*Как блики солнечные...*

*Мир иных красок, образов, полотен открылся предо мной. Собственное «я» растворилось в божественном пространстве красоты и гармонии... Несколько дней я ходил, как помешанный, ничего не видя и никого не слыша, создавая «поэму». Подобные озарения случаются с человеком нечасто. Они ниспосланы свыше и потому определяют круг будущих интересов и весь последующий жизненный путь...»*

С поэмы «Краски» начался наш поэт.

Детей своих Гений любил трепетно и нежно, может, ещё и потому, что сам в детстве рос полусиротой. Мать помнил смутно. Отца не знал. Родня Геня – старожилы, раскулаченные «враги народа», люди «земных корней», которые принесли в Сибирь православные книги старинного письма и древний уклад северной Руси, не знавшей крепостничества. Они любили землю, которую возделывали.

любили свой дом, как большинство русских, и это стало их главной виной. Для тирана опасны любые корни. Он их искореняет. Легко править перекаати-полем, если ты – ветер, смертельный ветер, опустошающий всё вокруг. По калмыцкой своей бабушке вождь пролетариата был далёким потомком монгольских завоевателей, а у них древнее правило: *«Только тень – другого товарища нет!»* И «товарищи» по партии истреблялись, становились «тенью», как и народ. Родня Геня была вся уничтожена, уцелел только он. Воспитывался в приёмной семье от которой и фамилия его, и отчество – Владимирович. Однажды в шкафу, под ворохом тряпья, нашёл он свёрток, а в нём вышивка: украинская ночь с луной и белой хатой – вышивала неизвестная мастерица. Вышивка с надписью: *«Кто мою хату мае, тот счастья не мае»*. Вышивка-оберег. А также в свёртке лежал документ – свидетельство о рождении, где указан настоящий отец Геня: Теодор Браницкий. Это сильно возбудило Геня, который уже писал стихи, и воображение его бушевало. Немедленно выстроилась родовая цепочка: наш Гений, не Владимирович, а Теодорович – Теодор Браницкий – Елизавета Браницкая (в замужестве графиня Воронцова) – Николай Раевский (родственник Браницких). И рядом с ними – Пушкин!

### Талисман любви

Елизавета Ксаверьевна Воронцова (урождённая Браницкая) – жена графа Воронцова, не отличалась природной красотой, но мужчины считали её красавицей из-за умелого кокетства и пылкости. «Не нахожу слов, которыми я мог бы описать прелесть графини Воронцовой!» – говорил о ней один из кавалеров. Не хватало у него слов, чтобы описать ум, а также «очаровательную приятность в общении, соединяя красоту с непринуждённой вежливостью, уделом образованности, высокого воспитания, знатного, большого общества, графиня пленительна для всех!» Насчёт «высокого воспитания» сказано, конечно, от восторженного затмения: Элиз была увлечена адюльтерами и мужу изменяла. Какое уж тут «высокое воспитание»? Но её знатность и близость к высшему обществу, конечно же, могли быть «пленительны для всех». Приукрасил Элиз и художник П. Ф. Соколов, написавший её портрет примерно в то же время, когда опальный Пушкин был сослан под надзор её мужа в Одессу. Ещё бы Соколов не приукрасил Элиз! Ему хорошо платили – как раз за то, чтобы приукрашивал.

Одесса тогда была пыльной, утонувшей в грязи тьмутараканью. В то лето гостила там и Мария Раевская, будущая жена декабриста Сергея Волконского, жил и её, страдавший ногами, брат Александр, а тот был другом Пушкина, и Пушкин считал его не только другом, но и своим «страшным демоном». Поэт боялся его магического взгляда – он даже свечи гасил, беседуя с Раевским, он томился от его, растлевающих душу, речей: *«его язвительные речи вливали в душу хладный яд»*, Раевский *«Провиденье искушал»*, он презирал вдохновенье, и он – волочился за Элиз. Раевский был опасен, но Пушкин единоборствовал с ним в завоевании сердца ветреной Элиз. Не знаю, добился ли Александр Раевский расположения одесской красавицы, а вот Александр Пушкин преуспел, и юная Мария ревновала, юная Мария презрительно относилась ко всем участникам любовного треугольника, юная Мария страдала. Она приехала навестить брата и сестру Елену, болезненную, хрупкую, добрую. Елена одна из всей семьи станет писать Марии

в Сибирь, когда все откажутся от жены преступника Волконского. Теперь же Елена лечилась на море, как и брат её Александр, и жила у Воронцовых. Елизавета Ксаверьевна, из польского рода Браницких, была Раевским дальняя родня. Тогда крепко роднились, и даже дальние родственники были близки, часто жили «колхозом». В огромной России почти все среди знати были роднёй и знали своих родичей чуть ли не до времён Рюрика, как знал Пушкин, не то, что теперь – через два-три поколения корни уже теряются. Дм. Мережковский в одной из книг своей трилогии о русских царях пишет: «...Едва ли не с первых минут знакомства Наталья Кирилловна сосчиталась с ним свойством отдалённейшим» (с князем Голицыным), а Вл. Ходасевич в книге «Державин» сообщает, что Дм. Ив. Хвостов (тот самый, который был выдающимся графоманом пушкинской поры и был всегда притчей во языцах среди поэтов) – по родству своему с Суворовым – стал графом (коррупция бессмертна!); что князь Вяземский, «поэт и остроумец, с длиннейшими ногами и маленькой головой» – юный шурин Карамзина; что графиня Браницкая, матушка нашей Элиз Воронцовой – племянница всеильного графа Потёмкина:

*«...26 июля прибыли в Киев, провели там три дня, помолились в Лавре, осмотрели достопримечательности и поехали под Белую Церковь, в имение графини Браницкой, той самой племянницы Потёмкина, на руках у которой он умер дорогою в Николаев. Перед памятью дяди графиня благоговела; в его честь был воздвигнут ею род пантеона, где бюст Державина высился среди прочих. Графа Ксаверия Петровича не случилось дома. Зато Элиза, кокетливая и быстроглазая дочка графини, в любезности не отставала от матери. Державину был оказан приём зараз торжественный и сердечный – как автору «Водопада» и старому другу...»*

Так что, кокетством и быстроглазостью Элиз отличалась с юных лет, но Елена любила милую сестрицу Лизыньку всем своим добрым сердцем, а Мария глядела на легкомысленную Элиз свысока, хотя потом, выйдя замуж за князя Волконского и оказавшись в Сибири, она влюбится в декабриста Александра Поджо, который был красив и горяч – итальянец! – и вроде бы даже детей от него родит. Кстати, Поджо – дальний родственник Раевским. Но это когда будет? В другой жизни. Теперь же Мария с категоричностью юности осуждала Элиз. В ранней молодости, когда Елизавета жила в деревне, и не было в ней даже намёка на вельможную даму, влюбилась она в их Александра, но он вроде бы не поощрял её любовных метаний (всё же кузен!), и даже читал ей поучительные нотации: ведь она написала ему письмо, где сама призналась в своей любви. (Совсем как Татьяна Ларина!) Какая, однако, смелость! Мария никогда бы не позволила себе написать такое письмо. Никогда! И у неё внутри тут же зазвенела туго натянутая струна гордости. Теперь, похоже, Александр забыл о родстве и волочится за блистательной Элиз, как и Онегин за Татьяной, тоже блистательной, тоже генеральшей, и препротивен в роли жалкого просителя, хотя хорохорится перед Пушкиным, который, по всему виду, тоже влюблён в кокетку Елизавету Ксаверьевну – вокруг неё кавалеры так и выются, и шумят, и слетаются к ней, как пчёлки на мёд. Ну тут уж Пушкин не упустит случая! – замирало сердечко у юной Марии. И Пушкин не упустил. Он быстро закрутил роман с Элиз, а на графа писал оскорбительные эпиграммы.

*Полу-милорд, полу-купец,*

*Полу-мудрец, полу-невежда,*

*Полу-подлец, но есть надежда,  
Что будет полным, наконец.*

Как известно, граф отправил дерзкого юнца ловить саранчу. Пушкина это не угомонило – напротив, взбесило. Новая эпиграмма:

*Певец-Давид был ростом мал,  
Но повалил он Голиафа,  
Который был и генерал,  
И, положусь, не прощя графа.*

Мы, конечно, за Пушкина, хоть он и «ростом мал», но, как и библейский Давид, божественный певец! Мы тоже твердим вслед за ним о злодее Воронцове: «полу-мудрец, полу-невежда». Ах, как он посмел так обходиться с нашим Пушкиным, так унижать его! Пушкин ведь *«наше всё»* – так назвал его впервые другой поэт и критик Аполлон Григорьев, который остался во временах своим слащавым романсом «Две гитары за окном жалобно заныли...», да словечком «допотопный» – это он придумал. Но о Пушкине хорошо сказал!

А если на всю эту историю поглядеть глазами того времени и самого обманутого мужа – графа Воронцова? Он не был невеждой. Сын русского посла в Лондоне, Михаил Семёнович получил блестящее образование, был меценатом, участвовал в войне 1812 года и заграничных походах. Имел репутацию либерального военачальника, разделяя с солдатами тяготы походной жизни. Он не был с ними высокомерен, как потом с Пушкиным, да и к Пушкину поначалу относился вполне доброжелательно, пока тот не стал дерзить и волочиться за его женой. Для солидного, состоявшегося человека, Пушкин – гонористый мальчишка, не нюхавший пороха, почти вдвое моложе его, да к тому же неблагонадёжный, ссыльный. Единственный тут минус – Воронцов не увидел в нём большого поэта, писал министру иностранных дел Нессельроде:

*«Он имеет уже множество льстецов, хвалящих его произведения, это поддерживает в нём вредное заблуждение и кружит голову представлением, что он замечательный писатель, в то время как он только слабый раздражитель... лорда Байрона. Удаление его отсюда будет лучшая услуга для него...»*

Так же думал и соперник Пушкина – Александр Раевский, мастер интриг: это он способствовал удалению из Одессы неуправляемого поэта. Жестоко? Да! Зато сколько гениальных произведений поэт написал в своём заточении в Михайловском. Как учёный кот из «Руслана и Людмилы», прикованный золотой цепью к дубу – дереву сакральному, Древу Жизни – Пушкин то песню заводил, то сказку говорил, а в Одессе – почти ничего не писал, тратя энергию на запретную любовь и единоборство с «Голиафом». Но прежде Пушкин сам намеревался избавиться от «полу-подлеца» графа и позорной ссылки. Задумал бежать на родину своих предков Ганнибалов, в Африку, сговорившись с мавром из Туниса, корсаром Мурали. (Теперь-то известно, что Мурали был вовсе не мавром, а выходцем с Балкан, потомки его до сих пор живут в Тунисе и некоторые сильно смахивают на Мурали.) Всю ночь поэт и корсар пили на корабле с матросами, а к утру Пушкин передумал бежать, прикованный к родным берегам любовью – и к прекрасной Элиз, и к отчине, и, главное, к своей поэзии, невозможной без России: *«Могучей страстью очарован, / У берегов остался я...»* И всё же: *«Прощай, свободная стихия!»* Жалоба Воронцова возымела действие – Пушкина сослали в Михайловское, где любовь его не остыла, а стала томительной, прекрасной тоской – то есть

стихами. Это ей, кокетке Элиз, посвятил Пушкин свой «Талисман», зарифмовав её заговор на перстне, обращённый к нему; это она велела ему сжечь тайное письмо любви, присланное в Михайловское, и он сжёг, и он плакал над пеплом: *«Прощай, письмо любви, прощай! Она велела... / Как долго медлил я, как долго не хотела / Рука предать огню все радости мои!..»* Что было в этом письме? Может быть, сообщение о беременности Элиз, или уже рождении девочки, смуглой, как Пушкин? Если бы он знал, чем, спустя годы, обернётся для него этот роман. Со перник его, Александр Раевский, не забудет своё фиаско в любовной битве: он был мстительным, коварным человеком, Пушкин даже стихотворение написал о нём – «Коварность», где есть такие убийственные строки, в которых, думаю, Раевский узнал себя:

*«...Но если ты святую дружбы власть / Употребил на злобное гоненье; / Но если ты затейливо язвил / Пугливое его воображение / И гордую забаву находил / В его тоске, рыданиях, униженьи; / Но если сам презренной клеветы / Ты про него невидимым был эхом; / Но если цепь ему накинул ты, / И сонного врагу предал со смехом, / И он прочёл в немой душе твоей / Всё тайное своим печальным взором, – / Тогда ступай, не трать пустых речей – / Ты осуждён последним приговором...»*

Вигель, хорошо знавший Александра Раевского, так о нём говорил: характер Александра был составлен «из смешения чрезмерного самолюбия, лени, хитрости и зависти... Известность Пушкина по всей России, превосходство ума, которое внутренне Раевский должен был признавать в нём над собою, всё это тревожило, мучило его...» Мучило до такой степени, что через 13 лет он (это уже вроде бы доказано) был одним из составителей грязного пасквиля Ордена Рогоносцев, что спровоцировало роковую дуэль Пушкина с Дантесом. Он отомстил! И за талант поэта, и за его благородство, когда поэт беспокоился об Александре, арестованном по подозрению в заговоре декабристов: «Он болен ногами, – писал Пушкин Дельвигу в январе 1826 года, – сырость казематов будет для него смертельна. Узнай, где он, и успокой меня...» Пушкин любил Раевских, и всех простил перед смертью, а ещё он не забывал свою Элиз. Год за годом крылатое его перо рисовало на полях рукописей её портреты, и несколько посвящений он ей написал – и все шедевры. Это она, ослепшая к старости – а прожила Елизавета Ксаверьевна 88 лет, пережив и Пушкина, и мужа, и Александра Раевского, и многих других своих воздыхателей – просила ежедневно читать ей что-нибудь из Пушкина, и вспоминала, наверно, душную и скучную Одессу, которая ожила для неё с появлением поэта, о тайных свиданиях в каменном гроте, где прятались цикады, где гулким эхом говорило море, о жарких, жадных объятиях молодого Пушкина, о безумных словах его, от которых кружилась голова, о ревности её сестрицы Машеньки Раевской – юной дурочки, тоже влюблённой в Пушкина. Не выдержала соперничества – сбежала из Одессы, гордо и холодно попрощавшись с Элиз, еще не остывшей от пылких лобзаний: горели губы, горела мраморная шея, плечи, грудь – вся она пылала, и в эти минуты была ослепительно прекрасна! И за ней охотился кузен Александр Раевский, которого она не то отодвинула, не то держала на коротком поводке, не подпуская близко, но и не отпуская совсем: играла, как кошка с мышью, отыгрывалась за то, что отверг её когда-то, в неопытной юности. Возбуждали её и стихи молодого Пушкина – Элиз была на десять лет его старше, а он писал ей:

*«Когда, любовью и негой упоенный, / Безмолвно пред тобой коленапреклоненный, / Я на тебя глядел и думал: ты моя... / Когда, склонив ко мне томительные взоры / И руку на главу мне тихо наложив, / Шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастлив? / Другую, как меня, скажи, любить ты будешь? / Ты никогда, мой друг, меня не позабудешь?»*

Не дополучивший материнской любви, Пушкин не однажды влюблялся в зрелых женщин: то в жену историка Карамзина, то в жену своего друга и родственника Вяземского, то в жену австрийского посланника при русском дворе Дарью Фикельмон, и матушка Дарьи Фёдоровны, Елизавета Михайловна, была влюблена в Пушкина. Иногда она вдовела, но и в скорби не забывала кокетничать. Вяземский шутил о ней, что чем сильнее печаль Елизаветы Михайловны, тем глубже её декольте. Простоволосая, безумная, примчалась она к одру Пушкина после его роковой дуэли, не думая о приличиях. Двадцать шесть его писем хранила, как драгоценность, Елизавета Михайловна – дочь прославленного полководца Кутузова.

\* \* \*

Зачем я так подробно пишу о Пушкине, о его женщинах? Кто они нам? А я вам скажу – кто! Это ведь только кажется, что мы живём здесь и сейчас. Нет! Мы живём и здесь, и там, и везде – в контексте разных времён. Они не остались за спиной, они – с нами, в нас, в нашей крови и прапамяти. Это один длинный свиток, который мы проживаем в Вечности, и свёрнут этот свиток в кольцо, соединяя времена, возвращая и возвращая нас друг к другу. Свиток этот – как вечное объятие любви, ничем не расторжимое. Там всё записано: и высокое, и низкое, но у поэтов переплавлена жизнь в очистительные строки, и потому грешница Элиз прекрасна под пером Пушкина, и, может, моя грешная жизнь тоже будет оправдана хотя бы одним словечком, одной поэтической фразой или хотя бы моей любовью к Поэзии. И ещё – для моего поколения XIX век так же близок, рядом, как для нынешнего – век XX: руку протяни – и коснёшься руки Чехова и Толстого, Есенина и Маяковского. А мы касались – Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Достоевского. Наши бабушки родились в конце XIX века и долго одевались по моде того времени, а прабабушки появились на свет и того раньше – ещё при живом Пушкине. Дыхание его осталось в нашем воздухе. И мы порой XIX век знаем и чувствуем лучше, чем свой: *«Из будущего прошлое видней...»*

## Родословная

Итак, Елизавета Ксаверьевна Воронцова (Браницкая) состояла в родстве с героем войны 1812 года Николаем Раевским, а значит, в родстве с Раевскими был и наш Гений (на самом деле, Браницкий). Но главное – Пушкин! Рядом был Пушкин!

История, конечно, невероятная, хотя Гений немного походил на Раевских, особенно на генерала и черноглазую Марию, и знал это: такой же смуглый, с ночными очами, с роскошной шевелюрой, бегущей волнами, порывистый, горячий, как они, только без шляхетской спеси, если не считать его упоения собственной гениальностью, что, конечно же, всех смешило.

Легенду о своей родословной рассказывал, поминутно краснея – он замечательно краснел. Доказательств у него никаких не было, кроме семейных преданий,



которые, может быть, сам и придумал, оттолкнувшись от фамилии «Браницкий». Но разве это грех? Какой же поэт откажется от близости к Пушкину? А я так Пушкина находила везде и всюду. Он окликал меня на разных поворотах жизни. И сколько людей мне встретилось, которые утверждали, что находятся в кровном родстве с Пушкиным! Была даже одна кореянка, но с русскими корнями, уходящими в глубь африканской земли.

Гений не остановился на Пушкине, а, краснея ещё сильнее, сказал, что со мной в дальнем родстве и с прославленной балериной Матильдой Кшесинской, у которой, как известно, был роман с последним российским императором, ещё до его женитьбы, а во время революции в роскошном её дворце, подаренном наследником престола, обосновались большевики, и Ленин именно с её балкона выкричал свои «Апрельские тезисы» (а, может, не с балкона, а с броневика?) Ну, в общем, откуда-то кричал, и я за эти тезисы на журфаке университета получила «неуд»: вот никак не давалась мне история партии, будь она неладна, и вообще, любая история, кроме историй любовных.

Разговор о родословной Гения уместно закончить, наверно, его же строками – в стихах он, как всегда, более точен и лаконичен, а тут ещё и с лёгким юмором относится к родословным спорам, в том числе и к своим фантазиям:

*«Напрасно ратуют потомки / За чистоту своих кровей: / Всё наше прошлое – потёмки, / В природе чист лишь муравей, / И то вопрос – завоеватель / Из муравьёв, полян чужих, / Захватит в душные объятия / Чужаночку из муравьих... / И в куче чёрных виден рыжий. / Он так же рыж, как Чингисхан... / Так я в печальном прошлом вижу / Смешенье лиц, племён и стран...»*

\* \* \*

Но – пора с «исторических» небес спускаться на землю, к Гению и его жене Людмиле. В зрелые годы Людмила отяжелела, огрубели черты её прекрасного лица, а в юности она была похожа на ангела, родившись в традиционной кавказской семье. Гений показывал мне её фотографию, которую всегда носил с собой: одухотворённое, чистое лицо. Не лицо даже, а лик, озарённый неземным сиянием. В детстве и ранней юности горянки блистают небесной красотой, потом она – увы! – быстро гаснет, как весенний первоцвет. Конечно же, Людмила сразила Гения наповал, когда он её увидел в вагоне поезда «Москва – Владикавказ», в котором ехал по своим геологическим делам в Грузию, а она – домой, с комсомольского съезда в столице. Выходил Людмилу, высватал, заговорил стихами. Вот и меня выхаживал стихами, и почти добился успеха, но тут...

## Игра с огнём

Тут появился Петрович, и он победил Гения! Ведь в отличие от Гения, Петрович признавал меня не только как женщину – для обожания и зеркального отражения себя, любимого, но и как поэта, равного ему. Началась байга, началась охота с погонями и стихотворными дуэлями. Я металась между Гением и Петровичем – и ускользала от обоих – дразнила – играла с огнём. А потом и вовсе влюбилась в третий объект – в мой Мираж, и за этим Миражом спряталась ото всех. Гению я стихов написать не успела – да он и не нуждался в этом, а вот Петровичу написала. Странно, но до встречи с Петровичем я почему-то почти не писала о

любви, в то время как мои сверстницы писали только о любви. А тут – прорвало, как дырявый водопровод!

*«...Я ускользала от тебя лучом, / Я, как песок, сквозь пальцы уходила, / Но каждый шаг – я знала! – обречён: / Везде я взгляд твой долгий находила. / Скрестились все дороги, все пути, / И реки все в твою Арысь впадали, / И стерегли меня степные дали, / И я отныне знала – не уйму! / В степи июньской, где ночного дым, / Где свищут птицы в листьях краснотала, / Всё отзывалось именем твоим, / Твои черты и голос обретало. / Ты был звездой, сияющей в судьбе, / Тобой полна была любая малость. / И я жила не в мире, а в тебе, / Ступив на землю – я тебя касалась...»*

Любой от таких признаний ошалеет. Но любовные эти строки мало имели отношения к предмету посвящения и писались в минуту мечтаний, ради «красного словца» – поэтического. Петрович, конечно же, знал о секретах творчества, и что «сказка – ложь», что поэт, сочиняя песнь любви, если и думает поначалу о каком-то конкретном человеке, то в конце уже поёт вообще о неземном этом чувстве, помня только себя и свои переживания. Петрович это знал, но всё равно обманывался, и потому бывал удивлён моей сдержанностью в жизни – с ним, и в то же время моими откровениями о тайном возлюбленном – о моём Мираже, моём «безумстве». Зачем я Петровичу всё рассказала, да ещё привирая? Говорю же – с огнём играла! Или продолжала сочинять стихи – сочинять жизнь, выстраивать свою драматургию, «подправляя» пиесы Всевышнего? Я теперь думаю, что все мои любовные истории – не греховные измены первому мужу или моим междубрачным возлюбленным, а именно сочинение иной жизни, или, как теперь говорят: «реалити-шоу», театр, где все играли всерьёз, где «строчки с кровью» убивали.

*«Когда б я знал, что так бывает, / Когда пускался на дебют, / Что строчки с кровью убивают: / Прихлынут к горлу – и убьют. / От шуток с этой подоплёкой / Я б отказался наотрез...»* Но – Пастернак не отказался! И я – увы! – тоже не отказалась.

Петрович отвечал так же – стихами. Чем ещё мог ответить поэт, которого дразнят, которому морочат голову, но и разжигают вдохновение? Конечно, стихами!

*«...Безумью твоему я верю и не верю. / Я не повинен в нём, любимая, и всё ж. / Когда перед тобой захлопывают двери, / От них во тьму ночей так просто не уйдёшь. / И я стою, стою, и в сумраке площадки / Вдруг показалось мне, что это лишь игра, / Что девочка, смеясь, со мной играет в прятки, / И что искать её пришла моя пора... / О, как они темны, дворовые труппы, / Невидное во тьме, кружится вороньё, / Но мы смеёмся с ней, и счастливы мы оба, / Что хитрость удалась, что я нашёл её! / Судьба умнее нас. Судьба глаза не прячет. / И каждому из нас она своё воздаст. / Но что мне до судьбы, когда девчонка плачет, / А женщина молчит и знака не подаст...»*

Как хорошо! Написал стихи – и ничего больше предпринимать не надо: действие как бы уже совершилось. Петрович и не предпринимал ничего – до поры до времени, пока не решил на мне жениться.

В перекрестье нашего поэтического диалога влетал Гений, выстреливая отчаянные строки, захлёбываясь, перескакивая со слова на слово:

*«Ошеломила новость губ её и волос. / Всякое в мире слово стало всерьёз. / Тысячи «эль» заплакали, / С елей текла вода. / Ночью лягушки квакали: / «Этот май навсегда!» / Руки её и речи – / Ливень, гроза. / Незащищённые плечи, / На-*

*стежь глаза. / Говор какой-то странный, / Может быть, Костромы. / Это же наши страны. / Первопроходцы мы! / Тёмные воды, камни, / Воздух, трава – / Это её дыхание, / Это её слова. / Меряешь расстоянья, / Всю красоту столиц, / Майским её дыханьем, / Стремительностью ресниц. / И отравляешь годы, / Радости их и новь, / Единственной непогодой / По имени – не любовь...»*

Описанная женщина – с «ливнями и грозами», с кваканьем влюблённых лягушек, с говором Костромы – не была похожа на меня, хотя бы потому, что у меня говор западно-сибирский, как и у самого Гения, да поэт и не меня вовсе видел, а свою влюблённость в «тёмные воды, камни, воздух, траву» – в молодую жизнь, в жажду любви, а «говор Костромы» ему понадобился, скорее всего, для рифмы – «Первопроходцы мы!», ну, и снова дань любимой географии. Я и Петрович были, может быть, лишь толчком для этих строк взхлёб, для этого счастливого отчаяния. Ведь если бы случилась «погода» – телесная любовь, то стихи вряд ли бы написались. Стихи питает драма. «Она нужна мне для стихов, а ей не надо!» – честно признавался в своих молодых виршах Олжас Сулейменов, у которого Гений позаимствовал – на время, конечно! – поющих лягушек («Как, скажи, от боли не заплакать? / Я люблю тебя, как любят квакать...»).

Гений тогда увлекался стихами Олжаса, да и многие из нас тоже были под гипнозом его ранней лирики. Это было яркое пламя цветущих маков, яростных скакунов, жарких женщин, страстных поэтов-жырау и степных акынов-воинов, чья диковатая, метафоричная поэзия оказала на него сильное влияние, как и на Павла Васильева. Жаль, что Олжас больше не пишет стихов. На одной из творческих встреч в национальной библиотеке Алматы он так объяснил своё сорокалетнее молчание в поэзии: мол, в сорок лет был я на такой же встрече с 80-летним Антокольским в Москве. Поэт читал стихи о любви, о поцелуях и объятьях, и было неловко его слушать. Тогда Олжас решил: всё! Больше писать не надо, чтобы не смешить людей – поэзия дело молодое, ведь вот мудрый Пушкин кончил писать в 37 лет, и правильно сделал. Но я тут же могу возразить Олжасу: Пушкин физически не мог больше писать – в 37 лет его убили. Забыл Олжас и о том, что о любви писали старики Гёте, Тютчев, Рабиндранат Тагор, Бунин и другие, и это была прекрасная лирика. Думаю, дело тут не в возрасте, когда года к суровой прозе клонят, а в творческой природе Олжаса: он не лирик – он публицист, в лирике тесно его масштабной личности, которая жаждет подвигов: закрывать атомные полигоны, сближать народы Азии, Африки и других континентов: «Нет Востока и Запада нет: есть большое слово Земля!», представлять государство в ЮНЕСКО и в Италии. «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан!» – этот некрасовский постулат он воспринял буквально: перестал писать стихи, стал гражданином! Его всегда тянуло к гражданскому пафосу (уже и в молодых стихах), да ещё к науке – этимологии. Этим и стал заниматься – параллельно с государственными делами, и занимается по сию пору. Но молодые его стихи – хороши! Одно из таких стихотворений – «Жара», я даже помню наизусть:

*«Ах, какая женщина, / Руки раскидав, / Спит под пыльной яблоней, / Чуть журчит вода. / В клевере помятом сытый шмель гудит. / Солнечные пятна бродят по груди. / Вдоль арыка тихо еду я в седле. / Ой, какая женщина! Косы по земле! / В сторону смущённо / Смотрит старый конь. / Солнечные пятна шириной в ладонь...»*

## Люблю

О женщине Гений писал всегда только возвышенно, каждая женщина становилась для него целой солнечной системой, и все события вращались вокруг неё, она неизменно окружена ореолом его восхищения и относится к чудесам света, чем и меня он купил (кроме стихов, конечно):

*«Ты ступаешь на мокрый песок, / Руки держат гуцу волос, / И выскальзывает из-под ног / Берег озера с тропками коз...»; «Отчего глаза твои черны, / Словно ночь прикоснулась к траве, / Словно врезались в берег челны / Непонятно в какой стране...»*

Он говорил о себе: «Ведь и мои первые литературные опыты были продиктованы влюблённостью в безбрежный солнечный мир, и, как правило, начинались со слова «люблю»... Для меня сказать «люблю» – точно век прожить». И как много веков он прожил! Вот оно, это «люблю»:

*«Люблю на земле твердыни: / Каменность, медность, вечность; / Лабазы, прилавки, дыни, / Исчезнувшие наречия...»* – этот ряд бесконечен, поэт мог бы назвать миллионы предметов, которые он любит.

Но не только в ранней лирике было это бесконечное «люблю». В стихах последних лет оно тоже есть, среди горечи утрат и разочарований, усталости пути, нерадостных мыслей и наблюдений:

*«Сирени веточку сломлю. / И с первой веточкой сирени / Скажу, что я тебя люблю, / Как неразлучный день весенний...»; «Как долго, долго в сердце нёс – / Признание: «Люблю»...»; «В той молодой моей стране, / Под сводом мироздания, / Чертил на глиняной стене / Любовные признанья. / Я был богат, как Бухара, / Как царские гробницы. / И возле каждого двора / Мне гимны пели птицы!»*

### «Поэзии голос живой...»

Не помню, ревновал ли Гений меня к Петровичу. Скорей всего, нет, потому что, охваченный постоянным вдохновением, вообще ничего не видел, но уж точно не считал Петровича своим соперником в творчестве. Не входил он и в дружеский круг Петровича, не бывал на наших застольях – в нашем «Тайном обществе канареек». Он вообще держался особняком, ни с кем особо не сближаясь. Может, потому, что многие поэты относились к нему с некоторой иронией – из-за его эпатажности, несносного характера, порою буйного, и не считали глубоким человеком, хотя талант и признавали, а он – задиристо – не признавал никого и почти со всеми перессорился. Мне повезло, я знала его с лучшей стороны – с той, когда он был влюблён, и когда я была влюблена. И всё же друзья у него имелись. Мне известно о его дружбе с казахским поэтом (и теперь классиком) Мукагали Макатаевым, которого Гений переводил, посвятил ему стихотворение «Ива»:

*«...Такая зелёная ива / Тебе, удивлённый поэт, / Рассеянно, неторопливо / Дарила весенний свой свет. / И, помню, сказал Макатаев: / «Когда эти листья слетят – / Не снег на озёра слетает, / А белые лебеди спят...»*

Вот, опять белые лебеди – любимый образ! Гений познакомил меня со стихами Мукагали. По страсти, по накалу вдохновения Мукагали мне очень близок. Я его тоже переводила, и земляки Мукагали за это подарили мне чайный сервиз – бело-красный, с национальным орнаментом: большое блюдо, чайники, пиалы

Мукагали, в свою очередь, переводил Данте, и Данте подарил ему итальянские терцины, которые Мукагали ввёл в казахское стихосложение, сделав его ещё богаче. Я помню, как Мукагали – с горящими глазами, пьяный от восторга (и не только!) – ходил по Союзу писателей и восклицал:

– Я понял Данте! Вы все ничтожество, вы его не понимаете! А я понял Данте!

Подошёл ко мне, тогда ещё совсем юной, с длинной чёлкой до глаз, как у Ахматовой, кое-кто находил даже наше внешнее сходство, остановился, взглядываясь в моё лицо:

– Думаешь, ты Ахматова? Куда тебе!

Он был эпатажным человеком, как и Гений, задиристым, и у него, конечно же, случались конфликты с литературными властями, и власти тогда запрещали его публикации. Что стоит хотя бы вот эта его выходка. В Союзе писателей шло заседание секретариата, а это всегда священнодействие. Никто не смеет в это время входить в кабинет первого секретаря СП без его приглашения. И тут, отшвыривая секретаршу, врывается возбуждённый Мукагали и рявкает:

– Всем встать! Умер Твардовский! Умер великий поэт! – и заплакал.

Дружил Гений ещё с Владиленом Шустером. Владилен – в честь вождя мирового пролетариата, Владимира Ленина. Родители Шустера были, видимо, верные ленинцы. Владилен – это ещё не самое худшее имя, ведь были ещё Даздраперма – Да здравствует первое мая, Тракторина, Бороздой (родившийся в борозде на поле), «Касемьсот» (в честь трактора К-700!), Мэлс – Маркс, Энгельс, Сталин. Казахи особенно любят давать детям экзотические имена. У нас, например, есть писатель по имени Энгельс. Энгельс Габбасов. Так вот, когда он учился в школе, в начале 50-х, и дети во дворе, во время перемен, кричали ему: «Энгельс дурак!», директор школы хватался за сердце и ждал ареста.

С Владиленом у Гения дружба студенческих лет – они учились вместе в Томске: Владилен на филолога, а Гений на геолога. Шустер – большой увалень, с огромной кудрявой шевелюрой, с портфелем, набитым рукописями, а рукописи залиты вином, тоже писал стихи, жил в Усть-Каменогорске, вокруг него собирались молодые поэты, перебежавшие от местного литературного мэтра и ветерана войны Михаила Чистякова – у Шустера интереснее, моложе, веселее: Владилен был остроумным и нестандартным человеком и никогда не писал урапатриотических стихов, как Чистяков. Люба Медведева – ученица Шустера, и через годы, в своих мемуарах «Картонный калейдоскоп», вспоминает о Владилене с придыханием и почтением:

*«...Задолго до нашего знакомства (...) я знала об академическом образовании и потрясающей начитанности Шустера, а также о его удивительном умении отделять рифмованный суррогат от настоящей поэзии...»*

И вот они встретились:

*«...В редакционную комнату влетел энергичный, крепкого сложения, кудрявый мужчина средних лет, в ту пору ещё довольно стройный, а в богатой шевелюре ещё не проблескивала седина. Он казался большим, громогласным, мудрым, как библейские старцы... Смешанное чувство почтения и привычка видеть в нём только учителя с годами только усилились. Его энциклопедические знания, несомненный литературный вкус ценили все в нашем сообществе. Мощно заявивший*

*о себе как поэт Евгений Курдаков не вызывал такого уважения и любви в нашем кругу, как Шустер... Свои стихи Шустер читал редко и к своему призванию относился с лёгкой иронией... Шустер всегда оставался отважным, ни перед кем не стелился, и потому, наверно, его мало печатали...»*

Действительно, у Владилена вышло всего две книги стихов: одна при жизни, ещё в Томске, другая – посмертная, усилиями его учеников. В периодике он тоже печатал свои стихи редко.

Я с ним там и познакомилась – в Усть-Каменогорске, когда литературное наше Прииртышье съехалось туда на творческий семинар. И тут мне придётся снизить возвышенный пафос моей подруги Любы Медведевой, хотя всё, что она о нём сказала, правда, но у меня другие воспоминания – тоже хорошие, только весёлые.

Помню, сидим мы с Шустером в актовом зале института, где проходил семинар, целуемся. Тут входит его жена Майя:

– Шустер, что ты делаешь?

– Разве не видишь – целуюсь!

– Но зачем?

– Как зачем? У нас творческий семинар!

Помню Шустера и в Алма-Ате. К тому времени он уже утратил былую стройность и стал телесно очень крупным поэтом. Однажды застрял между прутьями изгороди кафе в СП «Каламгер», пробираясь к чёрному ходу, потому что парадный был уже закрыт, и я Шустера проталкивала, как кролик Винни-Пуха из норы. Вместе потом свалились в сугроб, но проникли в кафе, от радости снова целовались. Эх, что сказать? Была я девушкой лёгкого литературного поведения. Между поцелуями читали стихи. Помню строки Владилена, которые дружно цитировал весь «Каламгер»:

*«А первая встреча – встреча. Вторая встреча – свиданье. А третья встреча – разлука. Отныне и навсегда...»*

Тут и другие девушки лёгкого литературного поведения стали с Шустером целоваться – и всё в пылу всемирной любви.

И к Мукагали, и к Шустеру Гений относился с юношеским восторгом. Но главным – главным для него был «поэзии голос живой»:

*«Ах, только бы это осталось / – Поэзии голос живой! / А то, что враждой называлось, / Пусть гложет худю травой...»*

\* \* \*

Увы! Спустя время «худая трава» разрослась. И я вспоминаю анекдотичный случай. Жили два поэта по соседству, и вот один как-то отпинал кошку другого, потому что кошка гадила в подъезде. Метод воспитания, конечно, сомнительный, но оказался действенным: кошка перестала гадить, зато стал «гадить» её хозяин. Он написал разгромную статью на творчество соседа, которая заканчивалась строками, полными гражданского гнева: *«Кто мучит кошек и собак, / К фашизму сделал первый шаг!»*. Сосед не замедлил с язвительным ответом, и тоже в стихах. Хозяин кошки разразился басней, несколько строк украв у Крылова и, видимо, полагая: раз Крылов «крал» у француза Лафонтена, то и другим можно. Сосед – во дворе дома устроил пионерский костёр, где сжёг книги кошатника. Кошатник потребовал исключить соседа из Союза писателей.

Сосед – подал жалобу в суд, написанную крепким ямбом, и т. д. Вот такой взрыв «вдохновения» вызвала притесняемая кошка! *«Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно...»*

\* \* \*

В письмах мы с Петровичем напрямую не говорили о нашей любви, и не только потому, что письма мог кто-то прочитать, хотя я ему – по его просьбе и для конспирации – писала на работу, а просто стеснялись, что ли, откровенных признаний. А вот в стихи любовь прорывалась, забывая об осторожности, ломая все тайные плотины. В стихах информации о наших скрытых чувствах было гораздо больше, чем в письмах. Информация эта зачастую и для нас была неожиданностью. Подспудное, неясное – чеканилось в строке, рассказывало нам о нас, в том числе и о том, чего не было, но могло быть, и это обжигало сильнее реальности.

Петрович сочинил целую поэму «Любовь, любовь...», с эпиграфом из Ярослава Смелякова: *«Должны быть всё-таки святыни / В любой значительной стране»*. Эпиграф пафосный, и поэма получилась тоже пафосной, но центральная мысль всё же хороша:

*«Освящены небесной властью / Причуды сердца и ума. / Любовь и тайна, жизнь и счастье, / Всё это – женщина сама... / Они (т. е. женщины – Н. Ч.) в любви на белом свете / Перед собою лишь в ответе, / Не потому ль они подчас, / Совсем, как маленькие дети, / И любят, и терзают нас. / И мы их, как детей, прощаем...»*

И меня Петрович с Гением прощали, как маленькое дитя, за то, что я их терзала. Но ведь и любила!

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ БАЙКИ

### Мешок хлеба

Но вернёмся к началу этой главы – в уральскую осень. Я уже неделю жила в Уральске, где у меня были творческие встречи, а Петрович должен был примчаться туда на сутки из Кустаная, где также встречался с читателями. В СП тогда существовало Бюро по пропаганде художественной литературы, и бригады писателей разъезжали по республике, выступая перед трудовыми коллективами, за что коллективы платили гонорар, и это было хорошей финансовой поддержкой пишущей братии, пребывающей в постоянной нужде. Мне всегда было неловко за себя: болтаю, стишки какие-то читаю, в то время как люди заняты настоящим делом – вкалывают в поле, на заводах, в шахтах, скот пасут, а я тут со своими рифмами и фантазиями! Но, надо сказать, трудовая публика всегда была более отзывчивой на поэзию, чем работники умственного труда с мозолями на пятой точке. Те слушали с некоторым снисхождением, явно скучая. А трудовой читатель отличался порой таким простодушием, что однажды один из них – в порыве восторга от стихов Павла Васильева, которые я читала наизусть – приволок в гостиницу мешок горячего хлеба, только что из пекарни, где работал: «Вот, за стихи вам! Пашка – это человек! Передайте ему!» Я узнала, что у мужика этого, смуглого до черноты и кучерявого, фамилия... Пушкин, из-за чего он, конечно, был постоянной мишенью для добродушных шуток. Я пыталась объяснить Пушкину, что Васильева давно нет в живых, однако хлебопёк ничего не хотел слышать и

мне не верил. Пришлось этот мешок отдать в ближайший детский сад. А зажгли хлебопёка «Стихи в честь Натальи», написанные Павлом Васильевым в 1934 году, но хлебопёк думал, что вчера, и что они во славу его дородной красавицы-жены, которую тоже зовут Наталья. Наталья Пушкина. Надо же, как судьба иной раз причудливо подбирает людей. Пока я читала стихи, Пушкин толкал в бок жену и восторженно восклицал: «Наташка, это тебе! Это о тебе, Наташка!»

*«В наши окна, иурясь, смотрит лето, / Только жалко – занавесок нету,  
Ветреных, весёлых, кружевных. / Как бы они весело летали / В окнах приоткры-  
тых у Натальи, / В окнах незатворенных твоих. / И ещё прошеньем прибалую – /  
Сшей ты, ради Бога, продувную / Кофту с рукавом по локоток, / Чтобы твоё  
яростное тело / Сядрами грудей позолотело, / Чтобы наглядеться я не мог. / Я  
люблю телесный твой избыток, / От бровей широких и сердитых / До ступни, до  
ноготков люблю. / За ночь обескрылевшие плечи, / Взор, и рассудительные речи,  
/ И походку важную твою. / А улыбка – ведь какая малость! – / Но хочу, чтоб  
вечно улыбалась – / До чего тогда ты хороша! / До чего доступна, недотрога. /  
Губ углы приподняты немного – / Вот где помещается душа (...) / Так идёт, что  
ветви зеленеют, / Так идёт, что соловьи чумеют, / Так идёт, что облака стоят,  
/ Так идёт, пшеничная от света, / Больше всех любовью розогрета, / В солнце  
вся от макушки до пят (...) / Восславляю светлую Наталью, / Славлю жизнь с  
улыбкой и печалью, / Убегаю от сомнений прочь. / Славлю все цветы на одеяле, /  
Долгий стон, короткий сон Натальи, / Восславляю свадебную ночь!»*

Я бы за такие стихи тоже отдала всё, что угодно, не только мешок хлеба! Но такому они, на самом деле, посвящались – пышнотелая московская красавица Наталья Кончаловская, внучка двух русских художников – Сурикова и Кончаловского, насупила «широкие сердитые брови» и прогнала поэта, и всячески открещивалась от посвящения. «Свадебную ночь» разделила она с долговязым стихотворцем средней руки Сергеем Михалковым. Он был положительным молодым человеком, а не бесшабашным и дерзким, как Павел Васильев, которого ругал нехорошими словами Максим Горький. Михалков не писал эротических стихов. Боже упаси! Он посвятил Наталье, а заодно и всей стране, «Гимн Советского Союза» и «Дядю Стёпу», стал лауреатом Сталинской премии, а Павла Васильева через три года, в 1937-м, расстреляли, как врага народа. Вот такая любовная история...

## Тюремная любовь

Но самые впечатлительные поклонники поэзии – сидельцы спецучреждений: воры, убийцы, мошенники. Они могли и слезу пустить, а стихи о маме и родине просили читать на «бис». Однажды в таком спецучреждении мы выступали с Сатимжаном Санбаевым, после чего один из сидельцев где-то раздобыл мой адрес и стал писать мне письма. Нашёл он и наши с Сатимжаном книги в тюремной библиотеке. Рассуждали мы, в основном, о литературе, которую сиделец любил, и я отвечала на его письма, потому что читала Пушкина, который «милость к падшим призывал», воспитывалась в христианских традициях и к опальному парню испытывала сострадание, надеясь, что это его исправит и направит на путь истинный: он был страшный грешник – убил человека. Служил в десантных войсках, а кровь горячая, вот после армии и влип – подрался, да так, что одного из задира убил. Дали ему срок – десять лет, большую часть которого он уже отсидел.



и как только «откинется», – писал десантник, – немедленно найдёт меня, отобьёт у Санбаева и женится, потому что влюбился. Остальные письма целиком были посвящены любви. Меня всерьёз беспокоил его романтический порыв – это не входило в мои планы спасения грешника, и я перестала ему писать, однако опасалась, что десантник всё же выйдет на свободу и прийдёт и меня, и ни в чём не повинного Санбаева, но Бог миловал.

### Бриллиантовая пыль

Кроме пропаганды литературы, по замыслу идеологов культуры, писатели должны были в этих поездках приобщаться к бытию народа, познавать жизнь, и потом всё это воспевать. Мне ещё раз стыдно, потому что я не воспевала – в урапатротическом ключе, а так-то изъездила республику вдоль и поперёк, и темы для некоторых стихов возникали как раз благодаря таким вот писательским поездкам. Моду воспевать трудовой народ завёл поборник соцреализма Максим Горький. Кстати, «соцреализм» не он придумал, а его современник Иван Гронский, но именно Горький развил этот термин, отправляя писателей то в Сибирь, то на строительство Беломорско-Балтийского канала, где показывали примеры трудового героизма политзаключённые. Он и сам туда однажды поехал, покинув многочисленных домочадцев и слуг в своём дворце – бывшем особняке миллионщика Павла Ряпушинского, подаренном Горькому советским правительством: когда-то Горький давал деньги на революцию. Пролетарский писатель был потрясён увиденной правдой жизни и стал говорить о ней, и огорчил товарища Сталина, за что, гласит легенда, был отравлен: пищу ему доставляли из кухни Кремля. Работала целая секретная лаборатория по изготовлению хитрых ядов, которые испытывались на приговорённых к смерти эках, а потом применялись и к другим гражданам. Ничто не ново под луной! Как травили при царях-королях и восточных правителях, так и продолжали травить. Особенно «красиво» это делали турки: приглашали на чашечку чёрного кофе, в который добавляли бриллиантовую пыль.

Но ни одно преступное деяние не проходит безответно – закон бумеранга. По одной из легенд, самого Сталина тоже отравили, пропитав ядом книгу Горького, которую вождь читал на даче в Кунцево, прихварывая. Была у вождя привычка: слюнить палец, перелистывая страницы. Вот и дослюнился... С литературной точки зрения очень эффектная сцена. Но даже если вождь умер и не от этого, легенда всё равно не отступится – народная воля так хочет, и того требуют законы творчества, тоже народного.

Но не будем о грустном. Это Пастернак всё грустил: *«Февраль! Достать чернил и плакать...»* (видимо, ничего более горячительного, кроме чернил, в доме не было, вот он и плакал). Я же достала чернил, чтобы их разбрызгивать и ставить кляксы, и потому о своих хождениях в народ вспоминаю весело.

### Бельё с цитатами

Весенним днём, когда Степь особенно прекрасна и полыхает от алых маков, когда полосой рыжего огня мчится сайга, мы приехали в Тургай и стали кочевать по её совхозам и чабанским отгонам. И так иногда далеко заезжали, что даже чабанские овцы, лошади и собаки не понимали русского языка и реагировали только на казахский, хотя в соцлагере было поголовное изучение русского языка.

Подобная история с собаками произошла и когда я однажды попала в немецкое село – все собаки проявляли агрессию к моему русскому языку, но стоило крикнуть по-немецки: «*Achtung, Katze!*» – «*Внимание, кошка!*» – собаки тут же бросили меня и ринулись за воображаемой кошкой. Для общения с казахскими собаками, более миролюбивыми, чем немецкие, мне языка хватило, и у нас быстро завязалась беседа. Собаки виляли хвостами, но всё же поглядывали с юмором: мол, ну ты и балда! Мы, с нашим небогатым собачьим языком, и то понимаем по-казахски, а ты, со своим великим и могучим, казахский никак не освоишь! Ну это, наверно, потому, – отвечала я собакам, – что никак не могу на чём-то сосредоточиться, всё время отвлекаюсь и витаю. И столько в голове моей поэтического тумана, что всякая полезная информация тонет...

В одном из районов нас, поэтов, поселили в одноэтажной гостинице, где номера начинались с цифры «500», а кончались «510-м» номером. Спрашиваем у администратора гостиницы: «А где остальные 499 номеров? Почему номера-то у вас с пятисотого начинаются?» Администратор невозмутимо ответила: «Так солиднее!» Солидность была подчёркнута и постельным бельём в номерах: вместо цветочков изречения из Вольтера, Пушкина, Толстого. Было даже из Чернышевского, из его романа, написанного в тюрьме, «Что делать?». А цитата такая: «*Не давай поцелуя без любви*». Уговорил – не дам! Стелилось подобное бельё, видимо, чтобы соответствовать писательским телам, которые будут возлежать на этих простынях. Можно и почитать перед сном – наволочку либо пододеяльник, и повесить литературное образование. Где только гостиница брала такое бельё в советское унифицированное время? Вот вам и глухомань! Какие мастера сервиза, а?! Мы не успели выяснить, всем ли гостям стелилось тематическое бельё. Например, если в гостиницу заедут математики, то бельё уже будет с формулами? Если партийные работники – с цитатами из классиков марксизма-ленинизма? Страшно представить, бельё с какими картинками и текстами стелилось, если вдруг в эту гостиницу на какую-нибудь конференцию заезжали гинекологи либо проктологи. Вот такая фишка была у этой районной гостиницы!

Принимали нас прекрасно. После каждого выступления – а их было тридцать! – застолье. И вот после очередного застолья детский поэт – не стану называть его имени, настолько был «утомлён нарзаном», что не мог выйти из-за трибуны, куда дошёл чудом. Выступил, однако, хорошо: ноги не ходят, голова не работает, а язык помнит. Пора уступать место другим товарищам, а он вцепился в трибуну – боится пальцы разжать. Но понимает, что не может стоять молча, и начал «игру» с залом, где сидели усатые аксакалы, трактористы с чёрными от работы руками, повязанные белыми платочками доярки.

- Как кричит барашек?
- Бе-е-е! – дружно отвечает зал.
- Жаксы! А как мычит коровка?
- Му-у-у!
- Ой, молодец!

Надо было спасать бедолагу, и руководитель нашей писательской команды стал вежливо выманывать его с трибуны. Поэт буквально выпал оттуда, как птенец из гнезда, и его подхватили сильные руки нашего бастыка. Слово взял другой поэт, Леонид Скалковский, который «нарзан» вообще не пил, но при этом не терял чувства юмора. Кричат ему из зала:

– У вас тоже стихи про «бе» и «ме»?

– Нет, у меня про «кукареку»! – и прочитал свои знаменитые «Кишкентайки»:

*«В этом мире жутком думают желудком. И тогда лишь головой, когда кризис мировой», «Посмертно слава воздаётся. Вот так дешевле обойдётся», и коронный стих, автор которого до сих пор неизвестен: «Над городом, над городом гроза, а я стою, как памятник огромный, и у меня красивые глаза, и я такой талантливый и скромный...»*

Вообще-то, Леонид Скалковский писал в основном о войне, где отличился – получил орден «Александра Невского», а это высшая воинская награда и даётся за исключительные заслуги. Он был настоящим героем, один удерживая высоту под огнём противника на Зелёловских высотах под Берлином. Остальные погибли. И удержал! Бойцы на фронте просили его, что если он дождётся победы, то написал бы о них. И Скалковский полвека писал, но под конец долгой своей жизни выдавал только «Кишкентайки». «Мемуары» его тоже были весёлыми, как и у меня – радость со слезами на глазах.

### **«Высокая» литература**

Нередко познавать жизнь и встречаться с читателями приходилось в экстремальных условиях. Например, с промышленными альпинистами. Начальник отделочников по пожарной лестнице привёл нас на крышу высотки, чтобы мы прочувствовали всю романтику высотников. Нас тут же атаковали голуби, но начальник издал разбойничий свист, и голуби отстали. Вниз было страшно смотреть: альпинисты висели на верёвках в своих люльках и штукатурили стены высотки, а нам, поэтам, было предложено поделиться с ними творческими планами. Я молилась всё время, потому что эта встреча могла быть для меня последней, а вместе с ней и творческие планы. Спуск в шахту к карагандинским шахтёрам или подъём на дозорную вышку у пограничников Нарынкола, откуда были видны китайские казармы, причём вышку раскачивало ветром, выступление перед сотрудниками зоопарка – под рык голодного льва, или чтение стихов в Доме престарелых, где мы с поэтом Геннадием Кругляковым буквально угорали от стариковской газовой атаки, было ерундой по сравнению с крышей высотки. Но зато могу сказать, что наше творчество в тот день было на высоте!

### **Свой читатель**

Однажды стихи читать пришлось перед стригалими Южного Казахстана – под жужжание парикмахерских машинок и отчаянное блеяние овец. Процесс нельзя было прерывать ни на минуту. Но как только начал читать свои стихи по имени Бахыт, овцы замолчали, присмирели и давали себя спокойно остричь. Видимо, в ритмике бахытовых стихов было что-то, умиротворяющее животных – они впадали в овечью нирвану. Стригали сильно обрадовались и просили читать уже только Бахыта. А нам сказали: «Вы уж не обижайтесь, но от ваших стихов барашки волнуются, а от его – млеют. Вот у него хорошие стихи, душевные!» Мы потом – от зависти, конечно! – говорили Бахыту: «Наконец-то ты нашёл своего читателя!»

## Победа над ракетными частями

Случались и другие курьёзы. Приехали мы как-то с выступлениями в пески Сары-Озека, в воинскую часть ракетчиков, а на воротах большой плакат: нацеленная в небо боевая ракета и подпись: «Наша цель – коммунизм!» Но это ещё не всё. Принимал нас в своём кабинете замполит по фамилии Салоха – дубовый шкаф с багровым лицом, шириной в полстены. Тут вбегает солдатик:

– Разрешите обратиться! Мы тут, во время уборки территории, раскопали бюст Сталина. Что делать?

Салоха побагровел ещё сильнее, потом решительно приказал:

– Снова закопать! До особого распоряжения!

После нашего выступления перед солдатами офицеры устроили нам застолье. Угощали авиационным спиртом, а на закуску – квашеная капуста. В процессе пития офицеры – один за другим – стали падать под стол. Поэты держались. И тогда багровый Салоха возопил:

– Позор! Поэты держатся, а ракетные войска падают! Уволю всех, на хрен!

Но у нас тут был один секрет. Солдатики чинили свет, и потому пировали мы при слабой керосиновой лампе, и я могла потихоньку подливать поэтам воды вместо спирта. Сама же вовсе не пила. Так мы и выстояли в неравной схватке с ракетными войсками! Правда, наутро поэты жадно поедали арбузы, надеясь протрезветь: нас в местной школе ждали дети, чтобы принять в почётные пионеры.

## Поющий зоотехник

В таких поездках я собирала народные легенды, по мотивам которых написала потом цикл «Песни Джейраньей Степи», а зажглась я этой идеей, начитавшись путевых заметок Янушкевича, который был в восторге от казахской Степи, а также записанных Затаевичем сюжетов казахских кюев. И когда писательская бригада приехала в Кызыл-Ординскую область, то, зная о моём увлечении, привели ко мне здоровенного мужика, с бритой головой, суровыми бровями и крупными чертами лица – так, наверно, и выглядели степные батыры. Это был местный зоотехник, и он, сказали мне, знает много легенд. Зоотехник немедленно стал их рассказывать нараспев. Пел бы всю ночь, но мы с Акуштап Бахтыгереевой, которая переводила мне его легенды, запросили пощады и убежали в гостиницу. Номер наш располагался на первом этаже, в распахнутые окна струилась благодатная прохлада из яблоневого сада, от сырой, только что политой земли. Человек, вырастивший этот сад в песках Кызыл-Кумов, считался героем. Конечно, герой! Мы рухнули в постели, устав от выступлений, застолий, зоотехника и летнего зноя. Но тут в темноте началось подозрительное шуршание, с потолка на нас что-то посыпалось. Включили свет, и – о, ужас! – во все стороны прыснули тараканы, а потолок был вообще облеплен ими: «Открылась бездна, звезд полна...» Решили спать при свете, но тут в окне нарисовался наш огромный зоотехник и запел свои легенды. Пел до рассвета, пока за нами не пришла машина и не увезла нас к рисоводам, а там новый анекдот: передовой рисовод-кореец не мог выговорить имя своего бригадира Шамгон, и звал его «Самогон». Бригадир терпеливо его поправлял, а писатели хихикали. Кореец

хорош, и всё же: да здравствует зоотехник! Благодаря ему я заполучила несколько великолепных легенд.

«*Две легенды о Келин-Тюбе*» – о женщинах крепости, которую не смогли взять враги, перебившие мужчин древнего города, и тогда, надев шлемы воинов, вышли к ним женщины, и победили! А другая легенда звучит так: когда все мужчины пали в неравном бою, вышла на стены крепости первая красавица города, совершенно нагая, и враг, ослеплённый её красотой, отступил, правда красавицу он прихватил с собой, но крепость была спасена. В честь бесстрашных женщин и назвали крепость Келин-Тюбе, а теперь это посёлок Келин-Тюбе, где мы выступали.

Услышала я легенду и о «*Котты-Коже*». Говорили, у него несколько могил: в одной – голова его, в другой – тело, а в третьей – ноги. Он был великаном. Изрубленный в бою, встал и пошёл, и дошёл до родного порога, и упал там, и где упал – забил родник.

А ещё – «*Легенда о Коркуте*». Есть несколько версий легенды об этом почитаемом тюрками человеке, который изобрёл кобыз. Музыка кобыза необыкновенная, мистическая, и кобызисты люди потусторонние, с отрешёнными прекрасными лицами. Подобно Фаусту Гёте, Коркут искал бессмертия.

«*...Все смертны на свете – всему есть конец. / Но смерть переспорить задумал певец. / Стряхнул он со лба расслабляющий пот: / «Пока я пою – меня смерть не возьмёт!» / И вот, золотой, как небесный огонь, / На север понёс непокорного конь. / На белой равнине, где холод и снег, / Промёрзшую землю долбил человек. / «Что долбишь, работник?» – скользнул по лицу. / Тот хмуро ответил: «Могилу певцу...»*

Певец в ужасе пришпорил коня, и помчался дальше. На юг, на восток, на запад нёс его золотой конь. Певец плакал и пел, но всюду находил свою могилу. Тогда решил он покинуть землю, построил плот и пустился на плоту по воде, и снова плакал и пел. Но тут поднялся ветер, началась буря, ужас и мрак обступили певца, а он не сдавался – он пел!

«*...Под чёрной грозой, среди огненных стрел, / Солёную воду глотая, он пел. / Но гневной воды расступились края. / «Что это такое?» – «Могила твоя...» / Сомкнулась пучина, и только одна / На стихнувших волнах качалась струна. / И звон её чистый касался сердец. / «Кто плачет над миром?» – / «Бессмертный певец!»*

По другой легенде, не буря вызвала гибель Коркута, а змея, которая внезапно вынырнула из воды и укусила певца, и укус её был смертельным.

И всё же Коркут достиг бессмертия, потому что мелодии его и память о нём живы до сих пор, и могила самого певца сохранилась в южной Степи, где, говорят, земля близка к Космосу, потому что отпускает земное притяжение, а ещё – там слышна Музыка небесных сфер, которую улавливают струны кобыза.

## Однофамилец коровы

Я лично видела – и выступала с ним перед цветоводами! – автора слова «балмуздак» («мороженое», а дословно: «медовый лёд»). «Балмуздак» – словечко, интересное для русского слуха, как и слово «перделер» (шторы), а для казахского уха показался интересным боевой клич русских: «Ну, давай!» – и сдвигаются бо-

калы. Казахи сделали из него «Ал дабай!» (тюрки иногда не выговаривают букву «В», заменяя её на «Б» или «У»), и даже выпустили водку «Алдабай».

Автор «балмуздака» был серьёзным учёным-лингвистом, который много трудился для родного казахского языка. Но это был ещё и остроумный человек, сыпал шутками-прибаутками, и публика его немедленно полюбила, как всегда имели успех, перекрывая других поэтов, Михаил Балыкин, Леонид Скалковский, Дмитрий Рябуха. Они писали юмористические стихи, басни, пародии И, конечно, сами нередко становились героями смешных историй. Например, Дмитрий Рябуха – одноглазый поэт, *«с выражением социального нездоровья на лице»*. Такую формулировку однажды выдали чиновники Министерства культуры СССР, наложив запрет на актёров с некрасивой внешностью: Папанова, Юрского, Волкову, Фаину Раневскую и др. Вот и Рябуха имел подозрительную внешность. Живший в сельском пригороде Алма-Аты, привёл он как-то к ветеринару свою корову. Ветеринар спрашивает:

– Фамилия?

– Рябуха!

– Да не коровы, а ваша!

– Я ж говорю: Рябуха!

– Вы что, издеваетесь? – рассердился ветеринар. Пришлось показывать паспорт, где чёрным по белому было написано: «Дмитрий Рябуха».

– Однофамильцы с коровой, что ли? – удивился ветеринар. Рябуха сам рассказывал эту байку: у него в запасе имелась целая серия подобных баек.

Самое короткое выступление было всегда у писателя Леонида Макеева. Называлось оно: «Мои встречи с Максимом Горьким»:

– Первый раз я видел Горького в гробу!

На этом всё. Одно время Макеев возглавлял журнал «Простор», но недолго. Вскоре его сняли, однако Леонид Владимирович с этим не согласился: в кабинете забаррикадировался и три дня там сидел, не отдавая редакторское кресло. Кое-как отняли.

Таких весёлых баек и побрехушек у меня в запасе много – хватит на тысячу и одну ночь, но остановимся, иначе моё повествование превратится в сплошной литературный анекдот. У писателей есть такая, порой неодолимая, склонность к анекдоту, к пародии: может, потому, что всякое писательство пародийно рядом с творением Господа Бога. Пушкин задумывал писать своего «Евгения Онегина» вовсе не как «энциклопедию русской жизни», а как пародию на байронизм и нравы русских усадеб – хотел повеселиться, сочинив попутно пародийную «Гавриилиаду» и вереницу эпиграмм; Лермонтов «Демона» также задумал как пародию, в пику распространённой в то время склонности к демонизму, особенно в военной среде; «Дон Кихот» Сервантеса – это, в общем-то, пародия тоже; а уж проза Гоголя – почти сплошь пародия на людское бытие, беспрерывная комедия; и у Данте его «Божественная комедия» – пародия на порочное человечество. Пародиен Швейк у Гашека и Остап Бендер со-товарищи у Ильфа и Петрова, пародийны Гаргантюа, Мюнхгаузен, Фигаро, многие персонажи «Мастера и Маргариты» Булгакова и т. д. От великого до смешного – один шаг. От смешного до великого – долгий путь. Это знал Лев Толстой. Он был очень серьёзным писателем, и пародий в своих романах не допускал, но часто брал эпиграфы из Библии, как бы успокаивая Творца: помню, помню о моей вторичности!

## Пожар

В Уральске мест в гостинице не было, и я поселилась у подруги, тоже поэта, Томки Шабарениной – совершенно чудесной, по-русски простодушной в своих стихах с «народными» мотивами:

*«Платье красное взяла – не примерила. / Не поверила словам – не поверила. / Уходил – глаза цветут беспечальные. / Не кричать же в пустоту от отчаянья. / Не бежать же за тобой – ноги босые. / Но, как в омут головой, тянет к осени...»*

Томка работала на речном флоте – ходила по Уралу на судне, тянувшем грузовые баржи к Каспию, а в капитанах – муж, уральский казак: бравый молодец, чуб из-под форменной фуражки вырывался пушечным выстрелом. Жил он с Томкой бурно, с драками. Не мог стерпеть капитан, что юная девчонка, которую он взял в жёны из кишечного цеха мясокомбината, которая работала поварихой у него на судне, станет вдруг известной в Уральске поэтессой, важной фигурой. Не понимал он её творческой рассеянности, стихков, стремления к культурной жизни, вот и бушевал. Однажды так разодрались, что Томка собрала его вещички и выкинула за дверь, и мужа стала выгалкивать. Он упирался. Долго так воевали, и, как всегда, в конце концов помирились. Выглянули на лестничную площадку, чтобы вещи забрать, а их и нет! Тю-тю! Увели вещички.

Томка в составе нашей писательской бригады под началом известного уральского писателя Николая Фёдоровича Корсунова, фронтовика и друга Михаила Шолохова, выступала в пригородных совхозах. В дороге у нас сломался автобус, и мы добирались до города пешком. Тут-то Томка и поведала мне свою «страшную» тайну: она влюблена в Петровича.

Томка была шальной, забубённой – такие как раз нравились Петровичу. Он сам был с русской удалью и весёлой дурью.

– У вас было что-то? – спросила я.

Томка долго молчала, отвернувшись от меня, глотая мелкую снежную крупку, хоть была ещё осень. Дорогу начало замечать, и приходилось то и дело отворачиваться от ветра.

Потом прошептала:

– Только ему не говори!

– Ясное дело, не скажу! – А сама сгораю от стыда. У меня так и не хватило духа сказать ей, что у нас с Петровичем эпистолярный роман, и что Петрович сейчас мчится ко мне. Я чувствовала себя последней сволочью, слушая Томкину исповедь и зная, что утром пойду к нему. Прости мне, подруга, прости, прости...

Мне было известно и о других похождениях Петровича – и с незнакомыми мне женщинами, и со знакомыми, и даже с подругами, но я никогда почему-то не ревновала. Странно, ведь даже сёстры ревнуют своих братьев, даже друзья ревнуют, а тут... Вроде бы любовь, а ревности нет, хотя я вообще-то ревнива, и первого своего мужа буквально изводила болезненной ревностью. Может, с Петровичем и не любовь вовсе? Может, что-то другое, некая магическая связь, которая возникла за пределом этой жизни, этого временного измерения, и которая возвращается и возвращается к нам с каждым новым витком бытия, о чём Петрович догадывался в своём цикле «Последний перегон»:

*«...Вспыхнут станционные огни – / И в тумане медленно растают. / Люди  
 растаются, но они / Навсегда с земли не исчезают. / И уже, быть может, че-  
 рез век, / Августовской полночью погожей, / В мире повторится человек, / Как  
 две капли, на меня похожий. / В тот же предугаданный черёд, / Посреди глухого  
 перегона, / Женица печальная войдёт / В сумрак и безмолвие вагона. / Запоют  
 колёса вперебой, / Загудит железная дорога. / Что они услышат над собой: /  
 Голос сердца? Или голос Бога? / Как они сумеют объяснить / Жестов нарочитую  
 небрежность? / Радость невозможно утаить, / Если подступает неизбежность.  
 / Только нас, затерянных во мгле, / Им не угадать и не окликнуть: / Есть такие  
 тайны на земле, / В глубину которых не проникнуть. / Не дано им все же, не  
 дано / Разомкнуть над памятью забвеньё... / Встречный ветер выбелит окно /  
 Горечью любви и сожаленья...»*

### Улыбка хека

Он приехал ночью. Мест в гостинице по-прежнему не было. Там как раз жила московская съёмочная группа, снимавшая в Уральске какой-то фильм, и оккупировала всю гостиницу. Один из актёров напился, во сне уронил горящую сигарету и поджёг гостиницу.

Когда я утром прибежала к гостинице, которая курилась, как Везувий, то в вестибюле обнаружила спящего на стульях Петровича. Он был весь в саже и вид имел сатанинский, только глаза – ослепительно-голубые, васильковые, совершенно детские.

Эта поездка, как всё в нашей жизни, благополучно закончилась стихами, отблеск уральского пожара как нельзя кстати пришёлся к настроению Петровича того времени, когда он повсюду чувствовал катастрофу, какой-то конец света, финал жизни. Может быть, потому, что в самом деле предвидел недолгий свой век. А может, как утверждал Пришвин, чувство катастрофы – вообще естественное состояние русского интеллигента.

Мы с Петровичем пошли в ближайший ресторан, где он умылся. Сели за столик у окна. Под окном оранжевыми гроздьями горела рябина. Была поздняя осень, и с утра подмораживало. Ветви рябины красиво обводила кружевная изморозь. С утра в ресторане было мало народу, но всё равно официантку ждать пришлось долго. Наконец, она явилась – большая, могучая уральская казачка в белом передничке, который то и дело задирался на её животе, а казачка его сердито одёргивала, и вообще с утра была не в духе.

– Чё заказывать будем? – Мы попросили супа, но она ответила, что есть только «Улыбка хека».

– Что это такое? – удивились мы.

– Рыба, что же ещё!

– А нельзя ли какого-нибудь супа? – стали мы заискивать перед сердитой тёткой.

– А хренка с бугорка не хотите?

«Хренка с бугорка» хотелось ещё меньше, чем «Улыбки хека», и мы решили просто выпить чаю, который нас тоже не обрадовал. Он был жидким, припахивал кухонными тряпками, и в нём плавали подозрительные хлопья, но делать было нечего, и мы выпили этот утренний чай, заедая хлебом с горчицей – они тогда



были бесплатными. Всё равно мы были счастливы. Мы были, наконец, вдвоём, одни – без шумных компаний. Нам было хорошо. И как это бывает с поэтами, житейская проза легко переходила в поэтическую речь. Так Петрович начал свою «Осень в Уральске».

*«...Вот быстрый росчерк ястребиный / Оставил в небе самолёт, / И горький дух лесной рябины / Опять над городом плывёт. / И я, вчера ещё беспечный, / Я понял на исходе дня, / Что эта горечь жизни вечной / Не будет вечной для меня... / И в ту минуту, в то мгновенье, / С трудом одолевая страх, / Я не найду успокоенье / Ни на земле, ни в небесах. / Желанье жить – неистребимо! / И, видимо, пусты слова / О том, что горечью рябины / Душа останется жива. / Когда бы так, всё было б проще, / Но оглянусь – и нет следа. / Пусты рябиновые рощи, / Темна уральская вода, / И ночь темна... Легко и строго, / Как бы храня на всё ответ, / Мерцая, льётся на дорогу / Осенних звёзд холодный свет...»*

Строки эти снились ему ночью, в гостинице, где к рассвету вспыхнул пожар, и Петрович мог погибнуть в огне. Я тоже долго вспоминала Уральск.

*«...Помню город, пропахший пылью / Быстрых конниц бунтовщиков, / Где Урала чёрные крылья / Распростёрты среди песков, / Где охотник с медных ладоней / Кровь стирает пучком травы, / Где в ловушках рыбацких тоней / Много плавают звёзд кривых. / Помню город... Там ночью тёмной / Красный месяц, как волчья пасть, / Там в степной тишине огромной / Так легко одному пропасть. / Но проходит и ночь... С рассветом / Встретит шумом степной курень. / И я знаю: по всем приметам, / Счастьем кончится новый день!»*

Ни в строках Петровича, ни в моих – ни слова о любви, но подспудно она сквозит, как солнце за ночными облаками, тревожными, тёмными, но с лучами счастья.

## Летящие в тумане

Из Уральска мы поехали вместе: он – к себе на Юг, я – в Алма-Ату (я тогда уже из Семипалатинска перебралась в Алма-Ату и работала в издательстве «Жалын»). Целые сутки мы с Петровичем были рядом. Почти не спали. Стояли у окна в тамбуре, отчаянно целуясь. Забыли, что и он женат, и я замужем. Это было какое-то головокружение влюблённости, сновидческий туман. Целовались – и говорили, говорили, говорили. Между нами ещё не встал мой Мираж – он ещё не материализовался из этого тумана, и наша с Петровичем любовь была в самом начале.

*«Как прекрасно начало любви! / Эта радость чиста и нежданна. / И как хочешь её назови, / ведь она всё равно безымянна. / Так вот дождик по листьям бежит – / он не знает, зачем ему к полю, / к этим травам, где мокнут ежи, / и к цветам, и к степному раздолью. / Так марал за подругой бредёт / по уступам скалистого склона: / он ещё не готов на полёт / и на ярость осеннего гона... / Настоящая страсть далека: / гром небес, вдохновенные трубы, / но к руке прикоснётся рука – / жарким пламенем высушит губы...»*

Пролетали замороженные степи в сухом, серебристом снегу. Одинокие зимовки чабанов. Брошенные кошары с провалившимися крышами. И снова пустые пространства Великой степи, совершенно безлюдные. Вдруг заструились белесые космы тумана. Они всё стгуцались, они уже пылали сплошным белым полотном. И вдруг! Вдруг в разрывах этого тумана мелькнули две белых лошади. Они то

сливались с туманом, то силуэты их прорисовывались в молочном воздухе. Они словно бы по небу летели – прекрасные и лёгкие, как сон. Гривы их медленно развивались, были похожи на туманные пряди, а лошади летели и летели, летели и летели – из ниоткуда в никуда... Видение было настолько мистическое и волшебное, что мы с Петровичем замерли. Дыхание перехватило, и сердце сжалось от непонятной тревоги, тоски, восторга. Долго не отпускало меня мистическое видение. Сами собой запели строки – неровные, как туманные пряди, как прерывистое сердцебиение.

*«...Две белых лошади, летящие в тумане, / Две неразрывных, родственных судьбы. / Тугой аркан их больше не обманет, / А окрик злой поднимет на дыбы. / Две белых лошади, летящие в тумане, / Как вдохновенен их согласный бег! / Кто первым упадёт в степном бурьяне / И губы обожжёт о первый снег? / Кто крикнет высоко в осенней рани, / Не в силах небо удержать в глазах? / Две белых лошади, летящие в тумане, / Как две звезды в мятежных облаках. / Две белых лошади, летящие в тумане / По чёрной незасеянной меже, / Так неотступно следуют за нами, / Что радостно и жутко на душе...»*

В письме от 20 ноября 1977 года я так пишу Петровичу об этом видении, прилагая свои стихи и отвечая на его диптих «Последний перегон»:

«Какие стихи ты мне прислал! Пророческие... У меня тоже от ночного поезда осталось щемящее, трепетное воспоминание, какое-то космическое: будто мы неслись вне времени и пространства, ощущая на лице дыхание отшумевших веков, давних бурь и страстей. Я написала потом – под впечатлением нашей дорожной ночи и твоего «Последнего перегона» – тоже свой «Последний перегон»:

*«...Нас вынырнул ветер полынный, / И птицы, и зимний простор, / Тот исповедальный и длинный / Дорожный ночной разговор. / За окнами Степь, полустанки, / Смешение тёмных времён – / И горестный плач полонянки, / И выкрики диких племён. / Летим мы, не веря законам, / На встречу с минувшим своим, / Последним, крутым перегоном, / Сквозь ветер столетий и дым. / Созвездья проносятся мимо. / И как там судьба не крути, / Что было неразрешимо – / Легко разрешится в пути...»*

Да ещё – помнишь? – долго-долго, теперь кажется, вообще всю дорогу, и день, и ночь, за окном, в тумане мелькали две белых лошади. Они как бы парили, летели по воздуху, не касаясь земли. Картина была поистине фантастическая! Ты ещё сказал: «Совсем как мы...» Откуда эти лошади взялись, куда бежали – неведомо: селений не было видно, одна пустая Степь и небо. Я никак не могу забыть это потустороннее, волшебное видение...»

\* \* \*

«Две белых лошади, летящие в тумане» стали метафорой этой книги, а ответ на риторический вопрос в финале мистической картины: «Кто первым упадёт в степном бурьяне?» Судьба дала нам лет через десять. По меркам Вечности – через мгновение: первым упал Петрович. До этого успел расстаться с женой Алевтиной. Сестра Петровича вспоминает:

«...Как-то он пришёл поздно вечером, в начале декабря 1988 г. Я принялась готовить ему ужин, а он в это время расхаживал по кухне, и я заметила жёсткий, стальной блеск его глаз. Вдруг, повернувшись ко мне, стал читать такие строки: «Зачем, ступив на прошлые следы, / Я этой ночью, повернув с вокзала, / При-»

шёл к тебе и попросил воды?.. / О нет, конечно, ты не отказала...» В глазах его появились гнев и горечь. Я так и вскинулась в возмущении, приняв эти слова на свой счёт. Брат понял и успокоил меня. Оказывается, в этот вечер, возвратившись из Алма-Аты, он прямо с вокзала пошёл к своей бывшей уже теперь жене Алевтине. Разговора с ней не получилось. Тогда брат пришёл ко мне. Так я впервые увидела, как рождаются стихи. Нелёгкое это дело!..»

Вскоре Алевтина умерла. Петрович запил. Пил до черноты лица. Хотел покончить с собой – его спасли. И неизвестно, что бы натворил ещё, если бы не влюбился – на подходе к пятидесяти годам. Возраст роковой для мужчин: любые стрессы могут выйти боком. Но кто об этом думает, когда любовь? Немедленно женился – на молодой женщине, лет на двадцать его моложе, красивой и ветреной, обременённой двумя малолетними детьми, которая, оставшись без жилья, скиталась где попало, но жила весело, бесшабашно, и Петрович с ней загулял на полную катушку. Привозил молодую жену в Алма-Ату – показывать. Гордился! Написал о ней поэму «Последнее лето». В поэме – растерянность, нежность, печаль:

*«О любви, что меня укачала, / С благодарностью лёгкой спеша, / Я хотел бы запеть, но молчала, / Не умея лукавить, душа. / Ах, душа – непокорливый ослик, / Что ж тебя мне, умолкнуую, сечь?! / Песня будет, я знаю, но после, / Как вернутся и голос, и речь. / Я спою не о горечи света, / А о том, как случился в тиши, / Волей неба и милостью лета, / Неожиданный праздник души. / Праздник высветил ярко и звёздно / Все леса и поля за рекой. / Ничего, что случился он поздно, / Жаль, что был он короткий такой...»*

Почему у Петровича были сомнения, напишет ли он об этой любви, и в чём не хотела лукавить душа? Может быть, любовь, которая его «укачала», была неглубокой, не настоящей, и потому короткой? Но «укачала» основательно, и, видимо, подтолкнула болезнь, которая давно в нём тлела. Он очень много курил, ну, и пил, конечно, и работал на износ. Он спешил не только с «лёгкой благодарностью» к милости лета, он спешил написать то, что должен был написать, уже серьёзно боля. Болезнь сквозит между строк поэмы – теперь-то это читается, когда мы знаем финал. Там такая усталость, такая прощальная нота, как и в этих, последних его стихах:

*«...Доброжу я теперь до усталости. / Белый свет погляжу, а потом / Подниму где-нибудь на старости / В пару комнат бревенчатый дом. / Прорублю два окошка на стороны, / Чтобы видеть восход и закат. / Белой лебеди, чёрному ворону / Буду я одинаково рад. / Накормлю их с ладони, согрею / И водой из ковшика напою, / И крылатым гостям, как сумею, / О любви на прощанье спою... / Станет больше любви и смирения / В целом мире и здесь, у реки. / И останется меньше мгновения / До последнего взмаха руки...»*

## Последние дни

Незадолго до своей кончины Петрович снова приедет в Алма-Ату, исхудавший, непривычно молчаливый. Болезнь стала нестерпимой, и приезжал он на обследование в Институт радиологии, но не говорил о смертельном приговоре, который ему там вынесли. Переписки давно не было. И теперь, встретившись в кафе СП «Каламгер», мы будем молча пить кофе. Говорить не о чем. Когда общаешься каждый день – куча новостей, а когда не видишься долго – все новости кажутся

пустяками, особенно теперь – перед какой-то бедой, которую я почувствовала, и смертная тоска томила меня во всё время нашей короткой встречи. Чтобы хоть что-то сказать, спрошу его:

– Ну, как тебе живётся с молодой женой? Она мне понравилась – красивая...

Я соврала: она мне совсем не понравилась. Смазливая вертихвостка, но пожитейски хваткая. Петрович грустно улыбнётся:

– Красивая жена – чужая жена...

Она ему изменяла. Мы обнимемся – в последний раз.

\* \* \*

Сестра Петровича написала мне о днях его ухода:

«...В конце июля 1989 г. он поехал на обследование в Алма-Ату. Вернувшись домой, решил на операцию, хотя врачи не рекомендовали, знали, что это уже не поможет. Накануне вечером мы с мужем пришли к нему. Меня поразила невозможная синь его глаз. Уходя, я опять посмотрела в его глаза. Наши взгляды встретились, и я всё поняла: не нужны никакие слова... После операции нервы его были оголены, как высоковольтные провода. От него бежал сон. Дежуря у него ночью, я однажды спросила: «Ну почему ты не спишь? Что у тебя болит?» Предложила вызвать врача. Он мне ответил: «Врача не надо, а болит у меня душа...» И опять моё сердце оборвалось, предвидя самое страшное. Из-за закупорки кровеносного сосуда в лёгком у него началась гангрена. Врачи от меня не скрывали, что надежды на повторную операцию почти нет. Но операцию нужно было делать. Врач попросил поговорить с ним, подготовить его. Я пошла к нему в реанимацию, шла буквально на ватных ногах. Говорить он мог с большим трудом. Пока я лихорадочно подбирала слова, чтобы говорить убедительнее, он сам сказал мне: «Не надо операции... Я умру завтра...» Собрав все силы, он поднял руку и погладил меня по щеке... На следующий день, 26 августа 1989 г., так и не придя в сознание после второй операции, он скончался...»

*«Как будто день... Щебечут птицы. / Поёт о жизни стрекоза. / Плетёт, сплетает небылицы / у дома нашего лоза. / Но всё – от стен, плющом увитых, / до комьев глины – знак потерь. / Вы видели глаза убитых? – / Вот так и я гляжу теперь. / Пусть мы давным-давно расстались, / и ты другую полюбил – / какой пустяк, какая малость / перед сырой землёй могил. / Среди холмов, с весны зелёных, / в ромашках, в злаках полевых, / иная связь у погребённых / с живыми, помнящими их...»*

\* \* \*

А потом уйдёт и Гений. Сначала переселится в Россию, поближе к Москве. Но известный в Казахстане, в России он растворится среди множества поэтов, прилетевших за славой. В Алма-Ате он мог говорить: «Я – гений!» Мы добродушно посмеивались, но любили его – за талант и детскую непосредственность. В Москве же гении все, и нет любви среди поэтов. Там действует другое правило, о котором в стихотворении «Кофейня» писал Дмитрий Кедрин, убитый неизвестно кем: «У поэтов есть такой обычай: / В круг сойдясь, оплёвывать друг друга...»

Алма-атинский чудак, садовая голова, попадавший в разные передраги своих геологических походов: вступавший в поединок с диким зверем, бурями и смерчами, со смертельным зноем пустыни, замерзавший в тундре – в мороз под

шестьдесят градусов, срывающийся с горных утёсов, выживший во время сплава по сибирским рекам, ускользнувший от ножа чёрных старателей, он простудился на московских сквозняках и умер под капельницей, плохо поставленной нерадивой медсестрой.

Однажды он мне приснился. Черноглазый, молодой, сильно навеселе. Просит, чтобы я его помянула – водочкой. Ну, я уважила друга, помянула. На другую ночь опять приходит: «Помяни!» Помянула. Как он тут зачестил! Чуть ли не каждую ночь снится, и всё с одним и тем же: «Помяни!», будто каждая моя стопка до него доходит. Наконец, я не выдержала:

– Не приходи больше, Христом Богом тебя прошу! Я ведь так сопьюсь. Ишь, повадился!

А он – хохочет. Черноглазый, молодой, весёлый, да приговаривает:

– Не хочешь поминать – не надо! Я медсестре приснюсь. Я на неё не сержусь – она хорошенькая. На мою Людку молодую похожа...

## ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

### Криминальный талант

...И снова воспоминания возвращают меня в юные годы. Мой отец увлекался писанием картин – копировал Левитана и Шишкина, и я, подражая отцу, тоже малевала. Но однажды мне наскучило изображать берёзки и цветочки – я занялась изготовлением денег. Сначала рисовала рубли и трёшки. Получалось очень похоже! Эти рисованные деньги обменивала во дворе на настоящие копейки. Преступный промысел затягивал всё больше, и вот я приступила к крупной работе: сделала двадцатипятирублёвую купюру с Лениным на лицевой стороне. Тут-то и была поймана отцом. Купюру он изъясил и бросил в печь, а меня повел в городской Дом пионеров, в студию живописи, чтобы дать моему криминальному таланту правильное направление.

Дом пионеров стоял на берегу Иртыша, и раньше, до революции (в советские времена летоисчисление велось не от Рождества Христова, а от Октябрьской революции 1917 года), так вот, до революции дом принадлежал какому-то зажиточному горожанину. От прежней роскоши остались белоснежные кафельные печи, выщербленный паркет и высокие зеркала в резных рамах великолепной работы. Удивительно, но среди революционных бурь и погромов именно хрупкие зеркала хорошо сохранились, и я видела их в разных домах, и у нас в школе № 10, где я училась, были такие зеркала (в холле и актовом зале), и в кинотеатре «Октябрь». На стенах Дома пионеров висели и картины в золочёных рамах – сцены охоты, кисейные барышни в криналинах, пейзажи Италии. Были, говорят, и голые тётки, но их сняли и вынесли в кладовку – подальше от невинных детских глаз, но кто-то из ребят всё же пробрался туда и тёток видел, они не понравились: жиртрест!

Живопись вела замечательный педагог Вера Иосифовна Межинская. Небольшого росточка, худенькая, с волнистыми волосами, разделёнными на пробор и скромно уложенными в русский валик. Она была эвакуированной из Ленинграда. До войны закончила там Академию художеств. Муж её погиб ещё на финской войне. Вера Иосифовна показывала его фотографию: человек в толстых очках, с книжкой – оторвался на минутку от чтения. Лицо совершенного «ботаника».

близорукого и нелепого. Какой из него воин? Он и погиб сразу же, в первом бою. А потом грянула большая война. И вот Вера Иосифовна с маленькой дочкой оказалась у нас, куда стекалось немало беженцев Второй мировой. Родни у неё не было – все вымерли ещё в голодомор 30-х годов – они тогда на Волге жили. Осиротев, воспитывалась в детской коммуне, наподобие той, что создал Макаренко. Так что и родней, и семьёй стали для неё студийцы, в жизни которых принимала она самое горячее участие, входя в подробности наших проблем. Однажды спасла Мирку Зажитскую. Мирка жила на другом берегу Иртыша, в «Шанхае», в хибарке, обшитой фанерой. Мать её работала уборщицей – за копейки, и жили они в нищете. Мирка ходила в облезлом плюшевом пальто, дырявых ботинках и вечно шмыгала простуженным носом, но была так талантлива, что завораживала нас своими яркими, фантастическими картинками. В её праздничном мире обитали розовые слоны, у которых на спине росли цветы, вислоухие, улыбочивые щенки сидели в корзинах воздушных шаров, шары эти за верёвочку держали большеглазые дети. Дети бежали по ослепительно-зелёному лугу – и всё вокруг светилось счастьем. Мирка так хотела учиться рисованию, что однажды, когда половодьем снесло мост, взяла лодку бакенщика и поплыла в город. Лодка перевернулась, Мирка еле выплыла, мокрая, пришла в студию. Вера Иосифовна немедленно передела её в свою одежду, за которой сбегала домой – она жила неподалёку, отпила горячим чаем, и оставила у себя жить, пока мост не починили. И потом, тайком, подкармливала Мирку и помогала её матери деньгами. Мирка – молчаливая, угрюмая, не от мира сего – рассказала об этом, только став уже взрослой, красивой и успешной художницей.

Вера Иосифовна, вероятно, сразу поняла, что у меня нет выдающихся способностей к живописи (кроме, конечно, изготовления денег), но из студии не выгоняла, и я благодарна ей за это, ведь кроме скучных для меня гипсовых копий и натюрмортов, было ещё художественное образование. Вера Иосифовна рассказывала о художниках, преподавала историю искусств, учила отличать настоящую живопись от подделки, видеть мир в красках, в гармонии – эти краски перекечевали потом в мою поэзию, но самое главное, наверное, она учила любви и доброте, а эти уроки самые драгоценные. И я не уходила из студии и посещала её до окончания школы. Видя, как я мучаю ватман, копируя гипсовую голову Аполлона, она предлагала:

– Передохни, милая, почитай нам стихи!

И я с облегчением откладывала карандаш и читала. Летом наша студия поехала в Алма-Ату. Жили в палаточном лагере на берегу живого ещё тогда озера Иссык, писали этюды, варили на костре еду. Кроме Веры Иосифовны сопровождал нас ещё тренер спортивной секции по имени Валентин, крепкий паренёк, с простоватым деревенским лицом. Девчонки кокетничали с ним, стреляли глазками, хихикали, а он краснел и нервно потирал могучую шею боксёра. Однажды я, выгадав момент, когда он был в палатке один, влезла к нему. Для чего влезла, и сама не знала. Он брился перед маленьким зеркальцем, и, увидев меня, порезался. Я ждала, что будет дальше. Кровь быстрой струйкой стекала по его намыленной щеке, но он не убирал её, а глядел на меня, как мне показалось, испуганными глазами. Наконец пришёл в себя, досадливо поморщился, стал искать, чем бы зажать ранку.

– Ты чего пришла?

– За свитером! Холодно что-то...

– Палатку спутала!

– Ну и что? – не сдавалась я.

– А то! Марш отсюда! – теперь глаза его смеялись: он раскусил меня.

– Хоть платок возьмите, кровь же! – и я протянула ему мой носовой платочек с васильками по краям – сама вышивала.

– Обойдусь газетой! – он оторвал кусок от «Советского спорта» и стал очищать пострадавшую щёку.

Я выползла из его палатки и как ни в чём ни бывало побежала играть в волейбол. Девчонки приставали: «Ну что? Ну как?», а я напускала на лицо загадочность и ничего не говорила, но в глазах сверстниц сильно поднялась. Валентин с тех пор всякий раз смущался, когда видел меня, и старался быстрее пройти мимо, а я не сводила с него глаз и охотилась за ним. Теперь я понимаю: это не было увлечением или тем более влюблённостью – он мне совсем не нравился. Это было томление по любви, неосознанная игра пятнадцатилетней девчонки, весьма опасная для неё, но неукротимая проверка своей женской силы.

Вера Иосифовна, видя моё настроение, как-то сказала мне:

– Это ещё не тот, кого ты ждёшь!

– А когда будет тот? – загорелась я. – Мне уже пятнадцать лет, а его всё нет!

– Погоди, будет! Ты сразу его узнаешь.

– Как узнаю?

– Сердцем. Вот как сердце замрёт – он!

Сердце замерло через год.

## Он

Валерий Азаров тоже был учеником Веры Иосифовны, пришёл к ней мальчиком – худеньким, кучерявым, с татарским разрезом чёрных глаз, но к тому времени, когда мы с ним познакомились, ему было уже 22 года, он закончил художественное училище в Алма-Ате и, с дипломом художника-графика и скульптора, вернулся в наш степной городок. Работал, где брали: в городском парке подправлял сломанные гипсовые фигуры дискоболов и пловчих, оформлял витрины магазинов, в школах расписывал панно, рисовал афиши в кинотеатре «Хроника», куда устроила его мать, где и сама работала – билетёршей. Но постоянной работы не было, и, видя его мытарства, Вера Иосифовна выхлопотала ему в Доме пионеров должность учителя ваяния.

Помню этот зимний день, когда я впервые увидела Валерия. Мы сидели за мольбертами и писали очередной натюрморт – с глиняным кувшином, восковыми яблоками и тёмно-вишнёвой драпировкой. Вера Иосифовна стояла у кафельной печи и грела спину. За окнами медленно падал снег. Тихо, дремотно, настолько тихо, что слышно, как гудит огонь в печной трубе. И тут! Тут отворяются высокие белые двери нашей студии, и входит ОН! И сердце моё замерло, как у пушкинской Татьяны из «Евгения Онегина»:

*«Лишь он вошёл – я вмиг узнала, / Вся обомлела, запылала, / И в мыслях молвила: “Вот он!”...»*

Он был великолепен! В чёрном пальто и белом кашне, чёрные глаза его сияли, волнистая шевелюра обрамляла смуглое лицо с тонкими чертами и яркими, ослепительными зубами, когда он на чью-то шутку стал заразительно хохотать. Я тут

же отметила про себя: «Так, наверно, умел хохотать только Пушкин!» Пушкин был моим кумиром, а Валерий был так же кучеряв и смугл, как Пушкин.

Сразу стало шумно, весело, празднично, будто наступил Новый год. Валерий, как мне показалось, заметил восторженные взгляды наших девочек – и покраснел. Да, да, в те, далёкие теперь уже времена, юноши умели краснеть. Он был не один, а в окружении друзей, таких же молодых художников – раскованных, совсем столичных, они тоже вернулись с учёбы в Алма-Ате и Москве, но родной городок ничего не мог им предложить: художники были не нужны.

Азаров! Было в его фамилии что-то азартное, жаркое, яркое – озорное! «Азар» – слово тюркское. Род Азаровых с Дона – возможно, они были казаками, по крайней мере, в Азарове кипела казачья удаль, подогретая и какими-то восточными кровьями, ведь на Дону издревле рядом со славянами обитали кочевые тюркские племена: сарматы, скифы, половцы. Половцы однажды взяли в плен русского князя Игоря, и событие это стало поводом для вдохновения былинного Бояна, спевшего великое «Слово о полку Игореве». До сих пор гадают, кто был этот Боян: русский или половец? Да и сам князь Игорь непонятного происхождения. Скорее всего, смешанный человек – так определил поэт Юрий Кузнецов: «Русский человек – это смешанный человек». И в Бояне крови то боролись, то плакали общим плачем, жалея и русских, и половцев.

Я, конечно же, сразу записалась в кружок к Азарову. Лихорадочно лепила разные фигурки из пластилина и глины, хотя раньше никогда не увлекалась лепкой. А тут – лепила, кулемесила всё подряд, лишь бы понравиться ему! Но понравиться хотела не только я. На занятия лепки стала приходиться взрослая, лет девятнадцати, девушка Лёля. Завитая блондинка, смешливая, с ямочками на щеках. Она, конечно, странно смотрелась среди подростков, и все над ней подсмеивались, но Лёля упорно посещала занятия. Лепила она плохо – даже хуже меня, то и дело комкала слепленное и явно томилась уроками. Но когда Валерий давал отбой, веселела, быстро одевалась и ждала его на крыльце Дома пионеров, пряча лицо в белый воротник из песка. У неё и шапочка была песцовая – в те времена особый шик и роскошь – и кожаные сапожки на молнии, и узкие кожаные перчатки. Я же, в подшитых пимах, длинном пальто на вырост и мамином платке, смотрелась рядом с ней, конечно же, настоящим чучелом, и это приводило меня в отчаяние. Правда, Валерий тоже, как и я, не блистал шиком. Его потёртая «москвичка», побитая молью, припахивала нафталином, а у большой пыжиковой шапки линька была круглый год. Валерий зачем-то звал меня на прогулки с Лёлей, которые – после занятий – устраивал по вечернему городу. Обычно он и Лёля шли впереди. Лёля брала его под руку, хохотала всю дорогу, роняя свою «песцовую» головку на его «нафталинное» плечо, а я брела за ними, чертила прутиком на снегу ромбы и круги и напевала модную тогда песенку: «А снег идёт, а снег идёт...» Снег и в самом деле шёл, быстро закрашивая белилами улицы. Я пела дальше, и знала, что песня может выдать мою влюблённость, но это же песня, это же не я говорю, и значит, тайна остаётся тайной, но так хотелось о ней сказать!

*«Мой самый главный человек, / Взгляни со мной на этот снег: / Он чист, как то, о чём молчу, / О чём сказать хочу...»*



Потом Валерий отцеплял от себя Лёлю и шёл рядом со мной, и мы с ним говорили о поэзии и живописи, о прочитанных книгах – говорить мы могли бесконечно. Лёля уныло плелась рядом, норовя оттеснить меня и снова ухватить Валерия под руку. Так мы доходили до угла моей улицы, и я прощалась с ними. Валерий глядел на меня с весёлой нежностью, пожимал на прощание руку, задерживая её в своей дольше, чем надо, и они с Лёлей уходили. Я ещё долго стояла на углу, смотрела им вслед. Лёля тесно прижималась к Валерию, они целовались но потом Валерий оборачивался, и, как мне казалось, виновато глядел на меня. Лёля хохотала и вновь лезла к нему. Я её ненавидела и в то же время любила: ведь она прикасалась к нему! Всё, что окружало его, приводило меня в священный трепет. Вот и теперь, несмотря на ревность, я всё равно была счастлива, пела про снег – и до калитки дома, и дома, когда чистила картошку, а потом жарила, и когда разбирала постель, и даже в постели, накрывшись с головой одеялом.

Потом Лёля неожиданно исчезла: перестала ходить на занятия, и прогуливаться с нами по городу тоже перестала – к моей великой радости! Что там у них с Валерием произошло – не знаю: может, поссорились, может, она другого встретила, а, может, ей надоело, что Валерий морочит ей голову и не женится, или сама решила: художник – это не лучший вариант, денег больших он не получает, а она привыкла к песцам, и ещё неизвестно, станет ли он великим, как обещал.

Теперь Валерий один провожал меня, и мы снова говорили – взахлёб – чаще всего о живописи, или я читала стихи: и свои, и чужие. Память тогда у меня была хорошая. Так разговоримся – расставаться не хочется, и делаем круг за кругом, и всё не расходимся. Со сверстниками мне было скучно, дома со мной никто особо не разговаривал: родители работали с утра до вечера, а брат с сестрой были младше меня, и я глядела на них свысока. А Валерий меня понимал. До сих пор удивляюсь, как ему-то было со мной интересно? Я хоть и «продвинутая» девушка, но всё же подросток, а он уже совсем взрослый, хотя... парни позже взрослеют, чем девочки, и в свои 22 года он вполне мог быть шестнадцатилетним пацаном, а я – «пожилой» двадцатидвухлетней мадамой.

К тому времени у меня уже появились публикации в газетах, а также в крупном литературном журнале «Простор», и даже на всесоюзной радиостанции «Юность» стихи звучали. Я стала известна в нашем степном городке: меня приглашали выступать на радио, в Дом культуры железнодорожников, в театр, где иногда устраивались городские праздники. Отец относился скептически к моим успехам, и это, как я понимаю теперь, было правильно с точки зрения педагогики: у меня, благодаря отцу, не развилась звёздная болезнь. Но отец всё же переборщил в своей строгости, потому что появилась другая болезнь – неуверенность в себе, представление о себе как о человеке мало одарённом, которого хвалят незаслуженно. Мнительность эту я не изжила до сих пор, и более охотно верю критике, чем похвалам. А вот Валерию – верила! Он мною искренне гордился, и сам не отставал. У него открылась персональная выставка графических работ, которая имела успех, о ней писали местные искусствоведы: «Живая линия! Чистый рисунок!»

– Вот увидишь, мои работы будут в Третьяковской галерее! – говорил он, возбуждённый интересом к его графике мэтров городских художественных мастерских, которые хвалить-то хвалили, а в мастерские не пускали: там был свой избранный круг.

Ради выставки Валерий надел единственный свой тёмно-синий костюм, а к нему – белоснежную рубашку и бабочку. Он был великолепен! Как артист. Правда, всё это великолепие слетело с него, когда в подсобке выставочного зала он вместе с мэтрами и друзьями-художниками напился водки. Закуску разложили на газетке, постеленной на какой-то ящик. Пили из единственного стакана – по очереди. Налили и мне, но пьяный уже Валерий отклонил стакан:

– Не-е, ей нельзя!

Мне было неуютно в этой пьяной компании, но я держалась. Бабочка Валерия вскоре очутилась на шее у покалеченного бюста гипсового быка: накануне в выставочном зале проходила какая-то сельскохозяйственная выставка, бык был оттуда, и пьяные художники быка делили – кто будет реставрировать?

## Соперница

Не помню, сколько времени продержался скульптурный кружок, но, кажется, совсем недолго. Потом Вера Иосифовна заболела, и Валерий целое лето замещал её в студии живописи. Он водил нас на этюды, на Иртыш, на бывший Полковничий остров, и всегда просил меня выбрать лучшую композицию – у меня открылся композиционный дар. Мы с мольбертами располагались на пригорках, а то и просто в траве, и писали акварелью. Валерий не мешал, прогуливаясь по галечной отмели и отрешённо глядя на реку, на готические замки из красного кирпича – бывшие мельницы купца Мусина, где теперь был метизно-фурнитурный завод и водозаборная станция, глядел на высокий берег в птичьих гнёздах, либо чертил прутиком на песке разные рисунки, которые тут же смывали набегавшие волны. Я не столько писала свой этюд, сколько наблюдала за ним, и потому всякий раз портила работу – краски текли, смешивались, получалась мазня. Я расстраивалась, бросала кисточку, уходила вдоль берега к старому баркасу, который ржавел на приколе. Между ним и береговой линией плескалась зелёная вода, шустро носились мальки чебака. Мне никто не мешал. Думали – стихи пишу. Полковничий остров был моей родиной – я жила там до семи лет, в старом доме с мансардой и лесенками, посреди леса, цветущего шиповника и черёмухи, травы по пояс, в которой паслись наша лошадь Каурка и корова Машка. По верхушкам цветущего разнотравья низко шли облака, оставляя свой пух на зелёных головках одуванчиков. Я вспоминала эти картины счастливого детства, когда было только лето.

Наконец, меня всё же начинали кричать, чтобы возвращалась: пора домой! Я нехотя шла к ребятам, и всякий раз на своём мольберте находила букетик полевых незабудок или ромашек. Оборачивалась на Валерия – его глаза светились весёлой нежностью. Значит – он!

Но тут... тут снова появилась соперница. В студию пришла новенькая – вертялая красotka Нэлька. Высокая, длинноногая, с рыжим начёсом на голове. Она носила короткую полосатую юбку солнце-клёш, которая колыхалась над её круглыми коленками, на миг показывая и снова пряча нижнюю, белую юбочку в кружевах, крепко накрахмаленную. Думаю, для парней это выглядело очень соблазнительно, по крайней мере, Валерий стал уделять Нэльке внимания больше, чем остальным ученикам, то и дело склоняясь над её этюдами, да так низко, что задевал щекой её начёс. Нэлька и сама беспрестанно подзывала его:

– Валерий Денисович, правильно я написала?

Я с тоской глядела на них, и слёзы застилали мне глаза. Он оборачивался, взгляд его светился весёлой нежностью, но я не знала, кому теперь предназначалась эта нежность: мне или Нэльке? Её пейзажи были изящными, текучими, живописными, как у настоящей акварелистки – она и станет потом отличной художницей, так что Валерий не зря обратил на неё внимание. Вот тогда – от злости и отчаяния – я и написала своё «Озеро».

## Гроза

В один из выходных дней отец решил вести нас в поход, на Михайловские озёра, которые тянулись жемчужной цепью в семидесяти километрах от города, возле деревни Бородулиха, где жила сестра отца Нюра. Сначала мы на автобусе доехали до Нюры, подхватили её четверых детей, да нас, вместе с отцом, четверо, и вот, шумной компанией, отправились пешком через сосновый бор к озёрам. По дороге собирали грибы и кислицу. Когда пришли на место, ребята стали строить шалаш из крепких палок и сосновых лап, отец сел рыбачить, чтобы уха была, а девчонки собирали хворост для костра, который сразу же развели, как пришли, потому что над озером и лугом носились тучи комаров. Под вой этой «комарильи» я устроилась на пеньке у огня, обмоталась одеялом, чтобы летучие звери не покусали, и принялась писать этюд. Всё необходимое было со мной – я тогда всюду таскала краски, кисти и планшет с листами ватмана. Писать надо было быстро – пока комары не пробились сквозь дым, да и акварель требовала быстроты: ватман я залила водой и писала по сырому полю. Озеро получилось живым, с вечерним туманцем, слегка окрашенным жёлто-розовым закатом. Всё было призрачным, лёгким, словно озеро парило в воздухе, и только чёрные стрелки камыша резко выделялись на нежном фоне этой картины.

Когда я принесла этюд в студию – все с удивлением посмотрели на меня:

– Неужели сама написала?

– Сама!

– Надо же, впервые без грязи...

Моё «Озеро» взяли на выставку студийцев. Валерий привёл художников. Они стали рассматривать работы, зевая и лениво переговариваясь. Было утро, а художники, как известно, поздно встают. Даже Нэлькины акварели их не «разбудили». Но когда дошли до моего «Озера», оживились. Я запомнила только, как они повторяли: «Воздух, воздух, – будто начался артналёт, – она написала воздух!» Оказывается, это редко кому удаётся. Валерий быстро обернулся ко мне – его глаза сияли весёлой нежностью и восторгом. Больше мне ничего и не нужно было, больше я и не слышала никаких слов. Главное – он!

«Озеро» красовалось на выставке несколько дней, а потом исчезло. Кто-то видел: Нэлька сорвала, но она отпиралась:

– Больно надо! Да я в сто раз лучше её пишу!

– Ты просто завидуешь! – поддевали её студийцы.

– Вот ещё! – Нэлька презрительно фыркала, а меня ничуть не задевали эти разговоры. Я думала только о нём. Однако Валерий по-прежнему, когда мы ходили на этюды, склонялся над рыжим начёсом Нэльки, и она горделиво глядела на меня, и она проплывала мимо, крутя полосатой юбкой, к берегу, если Валерий уходил туда. Он по привычке чертил прутиком рисунки на песке и глядел, как волны

смывают их и откатываются к середине реки, и снова бегут к нему. Нэлька мыла кисточки в чистой воде, рядом с Валерием. Нэлька поднималась на цыпочки и снимала тополиный пух с его кудрей. Нэлька подносила пух к своим губам, как бы целуя, дула на пух, и пух летел над водной равниной.

И снова, не выдержав таких картин, я бросила незаконченный этюд и пошла к своему любимому баркасу. Сидела на коряге, прибитой к берегу, пинала гальку. И тут внезапно началась гроза. Налетел ветер. Небо мгновенно заволочла чёрная туча, неведомо откуда взявшись. Казалось, она вышла из воды, которая закипела воронками, ринулась на берег пенными буграми, когтистой, звериной волной. Мне замахали ребята: «Быстрее! Гроза! Прячемся!» Все кинулись под мост, хватая этюдники. Но я не двигалась с места. Тогда, прикрыв курткой голову, ко мне побежал Валерий. Я не знала, что будет дальше. И вдруг, неожиданно для себя, когда он уже подбежал ко мне, прыгнула на баркас, и, по-моему, побила тогда мировой рекорд по прыжкам в длину, потому что баркас был на довольно большом расстоянии от берега, и волны раскачивали его. Дождь хлестал уже вовсю, я вмиг промокла, но весело плясала на ржавой палубе, как дикая папуаска. Валерий сначала опешил, но потом – потом тоже прыгнул, и долетел до меня. Мокрые его кудри свисали сосульками, но глаза смеялись. Он обмотал меня своей курткой, прижал к себе, потащил под козырёк кубрика. И меня, и Валерия была крупная дрожь. А потом он меня поцеловал. В губы. Сначала – осторожно, как бы с опаской, а потом уже по-настоящему.

Не помню, как кончился дождь, как добралась до дома. Не помню, как день погас, упала ночь. Я вся горела. Губы мои вспухли и болели. Вспышками вставали картины грозы, его глаза, поцелуи, чёрное небо – опрокинутое, огромное, обезумевшая река, баркас, готовый перевернуться, и снова – его глаза, губы, полевое дыхание. Так пахнет луг после дождя.

## Прогулки над пропастью

С тех пор и пошло. Провожая меня после занятий в студии, он выискивал тёмные закоулки, где не было прохожих, прижимал меня к какому-нибудь дереву или забору, и целовал. Или забирались мы в недостроенные здания и там снова целовались. Как-то затащил в водонапорную башню – старинную, сложенную лет сто назад из толстого красного кирпича, с узорными зубцами по верху, как на стенах Кремля. Крышу башни венчала тонкая игла громоотвода. Внутри велись ремонтные работы, и потому вдоль стен стояли строительные леса. Но была ночь, и в башне – никого. Странно, что она не охранялась, что дверь её была закрыта на щепочку, как дома в деревне. Внутри пахло водой и свежей известью. Густая тьма только слегка освещалась луной, которая пробивалась в узкие бойницы. Валерий потянул меня в эту тьму, и я покорно пошла, обмирая от страха. Он полез на леса – и я за ним. Деревянные конструкции раскачивались, и я обречённо ждала, когда мы рухнем вниз и разобьёмся, но ведь вместе, и это меня бодрило. Мы вскарабкались на самый верх. Прижались к холодной стене и стали целоваться. Внизу дышала сырая бездна. Сердце моё обмирало от страха и счастья.

Когда спустились вниз, я упала Валерию на грудь и разрыдалась. Он успокаивал меня, как маленькую девочку, хоть было мне уже семнадцать лет: нос вытирал платком, гладил по голове, взял на руки и вынес из каменной утробы на воздух.

И так ярко вспыхнуло надо мной небо миллионом звёздных точек, так остро запахло цветами ночной красавицы из соседнего палисада, что я задохнулась: жива!

В этот палисад с ночной красавицей мы и нырнули – там была скамейка. Слепительно горела при луне белая стена дома. Пели сверчки. Мы тихо сидели, прижавшись друг к другу, и вдруг он сказал:

– Всё это будет и после меня...

– Ты всегда, всегда будешь!

– Нет, я скоро уйду...

– Куда?

– Вон туда! – и он показал на луну. Огромная, живая, она смотрела на нас, и тревожные тени перемещались по её круглому лику. Тогда я подумала, что это просто шутка, и успокоилась. Но, увы, он не шутил. Печальные предчувствия томили его, и, может быть, рискованный поход на башню был вызовом судьбе, искушением победить её, переиграть. Он был молод. Он был очень молод и влюблён.

А как-то Валерий привёл меня на высокий, пустынный берег Иртыша. Тропка была протоптана у самой кромки обрыва, рядом с глиняной стеной, которая красным утёсом поднималась до самого неба. «Интересно, кто здесь ходит? Я бы ни за что не прошла!», – подумала я, и тут Валерий предложил пройти по тропке. И я пошла! Пошла! Зачем он это делал? Не знаю. Но, может, хотел узнать предел своего бесстрашия – и мне его показать, а заодно проверить, пойду ли я за ним, когда мы будем на краю житейской пропасти и беды? Мальчишество, конечно, и большой риск, но он неоднократно устраивал такие «проверки», подвергая нас смертельной опасности. Но тогда я об этом не думала: я так его любила, что, наверно бы, и в пасть ко львам за ним пошла.

Он шёл впереди, а я следом, держась за хлястик его плаща. Продвигались мелкими шажками. Из-под ног срывались комья глины, подвижный песок, мелкие камешки, они плюхались в воду и тут же пропадали в чёрной бездне. Под обрывом крутились омуты, ходила хищная рыба, и глубина начиналась сразу же от берега. Я не умела плавать и воды боялась панически, хоть выросла у реки, но теперь не думала об этом. Мы делали остановки, и тогда он оборачивался – лицо его было бледным. Он целовал меня. Я задыхалась от счастья и страха, мне казалось, мы висим в воздухе, и под ногами нет никакой опоры, и если оторвёмся друг от друга, то рухнем на самое дно Иртыша. Но Бог миловал! Как преодолели длинный путь – не помню. И вот – спасение! Просторное, ровное место. Песчаная площадка, робко желтеющая осенней травкой. Посреди этого рая лежал большой валун, на который я тут же опустилась. Сил не осталось. Валерий сел рядом, прямо на песок.

– Смотри! – сказал он. – Видишь, горят два огонька? – На том берегу светились огни: видно, там находилась сторожка бакенщика. – Видишь?

– Да, вижу.

– Сейчас один огонёк погаснет...

И, действительно, он погас. Потрясённая таким чудом, я обернулась к Валерию:

– Как ты это сделал?

В глазах его дрожали слёзы:

– Этот огонёк – я. Я погасну скоро...

Я бросилась к нему, обнимая и целуя:

– Нет, нет! Ну что ты себе придумал? Нет!

– Может, и нет, но глянь на небо – видишь, две звездочки зажглись? Это снова ты и я.

– И они рядом, вместе!

– Да, вместе, но одна скоро погаснет...

И звезда, померцав какое-то время, как задуваемая ветром свечка, погасла, растаяла в вечернем воздухе, а другая – одинокая – ярко вспыхнула. Вокруг неё быстро стала сгущаться синяя тьма. Наступала ночь.

### Уроки «развращения»

Иногда Валерий приводил меня к себе домой. Он жил с матерью Ириной Петровной в подвальной комнате старого купеческого дома. Таких домов в Семипалатинске было тогда много: бревенчатый верх – кирпичный низ. Прежние хозяева обитали на верхнем этаже, а внизу, в холодном подвале, у них обычно хранилась провизия или он служил кладовкой для разной рухляди. Теперь же и верхние, и нижние этажи плотно заселялись людьми. Рядом тянулось длинное, приземистое здание амбара, тоже из красного кирпича. И там люди нагородили себе квартир. Азаровы жили в бревенчатом доме, в подвале. Комната, довольно просторная, разделялась большой русской печью. По одну сторону печи – кухня, по другую – угол Валерия, где стояла узкая железная койка, маленькая тумбочка и складной мольберт. И кухня, и угол Валерия задёргивались пёстрыми ситцевыми занавесками. В главной части комнаты, у стены высилась широкая кровать матери, застеленная красно-вишнёвым покрывалом, а у единственного окна – круглый стол. Над материнской кроватью в рамочке под стеклом увеличенный портрет отца Валерия – Дениса Азарова: молодого, в гимнастёрке и офицерской фуражке. Он погиб на войне, и Валерий его не помнил: родился в мае сорок первого, а в июне отец ушёл на фронт.

Ирина Петровна казалась мне старой, и было неприятно смотреть, как она красит губы, собираясь на работу. А ведь ей было чуть больше сорока – какая же старая? Совсем молоденькой осталась с двумя детьми на руках. Вспоминала, что Валерик – она его Валериком звала – слабенький родился, а в войну и вовсе помирать стал, ничего не ел, так она разжимала ему зубы щепкой и насильно кормила, он и выжил. Старший, Генка, покрепче. Ко времени нашего знакомства Генка был уже женат, жил отдельно в пристройке к школе № 6 – рядом с домом матери. Они с женой Машей и работали в этой школе: он – сторожем, она – техничкой. Был у них маленький сын Миша.

Ирина Петровна замуж больше не выходила, хотя в молодости красивая была, и следы былой красоты всё ещё не погасли. Смуглая – Валерий в неё. Знала только дом, детей да работу – много работы, от чего изящные, тонкой кости руки её перевили грубые, крупные жилы. Правда, была у неё отдушина – надел земли в Степи, который звала она «пашней». «Пашня» засаживалась картошкой, и чуть выпадало свободное время, Ирина Петровна бежала туда, где сделала шалаш. Картошка не требует ежедневного ухода, но Ирина Петровна была на «пашне» часто. Думаю, забиралась в шалаш и там, лёжа на охапке свежей травы, предавалась воспоминаниям о счастливой молодой жизни, о муже, разговаривала с ним, может, плакала, пока никто не видит. А вдруг у неё там свидания были? Да нет, вряд ли... Она строго держала себя, как многие вдовы войны.

\* \* \*

И вот, едва мать за порог, мы целуемся. Валерий порывался двинуться дальше, но я противилась, и он пошёл другим – более хитрым – путём. Стал потихоньку «развращать» меня. В углу комнаты стояла этажерка с книгами, в основном роскошные альбомы живописи. Валерий тратил на эти фолианты большую часть своей зарплаты.

Протерев чисто клеёнку на столе, он разворачивал передо мной эти альбомы с обнажённой натурой и внушал, что обнажённое тело – это красиво, иначе бы великие мастера прошлого не изображали его. Вот Боттичелли, вот Саския Рембрандта, вот «Обнажённая Маха», вот роскошные русские Венеры Кустодиева, вот, наконец, «Купание красного коня» Петрова-Водкина – нашего, советского художника. Так, постепенно, я переставала стыдиться рассматривать эти откровенные картины. Но ведь чтобы правдиво изобразить обнажённое тело, нужны натурщицы, – говорил он, – и женщины позировали художникам, понимая, что служат искусству. И тут подходил к коварному своему замыслу:

– Разве ты не хочешь послужить искусству?

– Как?

– Попозировь мне!

– Нет, ты что? Я не могу...

– Значит, ты хочешь, чтобы я приглашал сюда чужих девиц, и они бы тут раздевались, позировали?

Этого я тоже не хотела. Как же быть? А он всё убеждал и убеждал, и рассказывал разные истории великих натурщиц, которые прославили художников, например, любимая ученица ваятеля Родена, Камилла, сама талантливый скульптор. Я не поддавалась. Тогда он пустил в ход последнее оружие, как сделал это и Печорин у Лермонтова, когда соблазнял Бэлу: печально опустил голову, сокрушённо вздыхая:

– Ты не любишь меня... Ведь не любишь?

– Неправда! Люблю!

– Так что же? – в чёрных глазах его блеснули слёзы.

Негодник! Если бы мою семнадцатилетнюю внучку так же соблазнял взрослый парень, я бы его убила! Но так уж повелось: хорошим девочкам нравятся плохие мальчики.

Спротивление моё было сломлено. Я, вся дрожа, зашла за ситцевую занавеску, разделась, распустила волосы, прикрыв ими грудь, и, боязливо ступая по скрипучим половицам, вышла к нему. Он уже установил мольберт, прикрепил лист ватмана и затачивал карандаши. Обернулся – и замер. Я стояла против круглого зеркала на стене и видела себя: лицо было белым, чужим. Страшным!

Первым из столбняка вышел Валерий. Он деловито обошёл меня кругом, посадил на стул, потом передумал – поставил у занавески, и это ему не понравилось. Задумался. Ещё несколько раз двигал меня по комнате, как деревянный манекен. Наконец, решил устроить на красно-вишнёвом покрывале материнской кровати, где я должна была полулежать, опершись на локоть, как Даная, ожидающая золотого дождя, и мы приступили к работе. Но она плохо ладилась. Несмотря на то, что печь была жарко натоплена, меня бил озноб, согнутый локоть быстро затекал, а у Валерия то и дело ломались карандаши, он лихорадочно их снова точил. Не получался, видимо, и рисунок – Валерий начинал и тут же срывал с мольберта

лист, комкал и бросал. Комната уже густо была засыпана белыми комками. Наконец, Рембрандт мой не выдержал, вскочил и кинулся ко мне. Упал рядом на покрывало, стал целовать, при этом водил пальцем по контуру моего тела, как бы выщупывая фактуру «материала», линию рисунка. Я засмеялась:

– Ты даже теперь остаёшься художником!

Он засмеялся тоже – хрипло, чужим голосом. И продолжал изучать моё тело, продвигаясь к месту своей цели, но я была начеку, и у последнего пункта его путешествия вывернулась и столкнула его на пол.

– Ледышка! – выпалил он.

– Товарищ Рембрандт, не пора ли вам к мольберту? Слава не ждёт!

– На сегодня хватит живописи! Пойдём лучше супчик сварим. Картошку чистить умеешь?

– Конечно!

– Тогда вперёд!

Я мигом оделась и кинулась к картошке. Мы варили картофельный суп, потом ели его из одной тарелки, и Валерий, в упор глядя на меня своими чёрными, «татарскими» глазами, сказал:

– Сидим, как муж с женой!

– Ага! Как веник с метлой! – отшутилась я, а сама горю, а сама полыхаю от смущения и счастья.

Так и не смогла я послужить искусству. Больше не соглашалась обнажаться, и он не настаивал, даже говорил:

– У тебя другой будет, ты должна прийти к нему чистой.

Я не верила. Качала головой.

– Будет, будет! – говорил он, но продолжал соблазнять, следуя библейскому завету: «Муж да развратит себе жену...»

## Художники и подруги

Весной Валерий получил заказ от города сделать памятник нашему земляку, Герою Советского Союза Владимиру Засядько. Героем он стал, форсируя Днепр. Проявил смекалку: связал несколько рыбацких лодок, положил на них доски, и по этим доскам прошли его артиллеристы и техника. Они отбили восемь атак противника, уничтожив две вражеских роты. За это Засядько получил звание Героя Советского Союза. Погиб он в марте 1944-го, в боях под Кировоградом, и там же похоронен – на своей первоначальной Родине: он уроженец Украины, но на фронт уходил из Семипалатинска.

Валерию выделили мастерскую в пристройке Краеведческого музея (потом музей переехал в дом губернатора). К тому времени Валерий уже не работал в скульптурном кружке, а я продолжала ходить в студию к Вере Иосифовне.

Краеведческий музей располагался в старинном здании бывшего Географического общества, что активно действовало здесь раньше. Через наши степи пролегали маршруты знаменитых путешественников. Один из них, Адольф Янушкевич, писал в своих письмах 1846 года родным в Польшу, что видел в Семипалатинске «несколько фраз, начертанных в альбоме рукой Гумбольдта во время его пребывания в этом городе», а также «собственноручный рисунок Палласа, изображающий этого известного путешественника по Сибири, разговаривающего с бурятами в юрте».



Кстати, Паллас обнаружил в окрестностях Семипалатинска редкостного зверька, которого называли «джунгарской мышью», потом переименовали в «джунгарского хомячка». Бывали здесь Николай Рерих и Семёнов-Тяньшанский, американец Джорж Кеннан (он не только путешествовал, но ещё и немножко шпионил), и наш Чокан Валиханов – Чокан заезжал сюда по дороге в Кашгар, куда направлялся с секретной миссией, т. е. тоже немножко шпионить. Семипалатинские земли граничат с Китаем, в городе у нас даже было китайское торговое консульство, украшенное цветными витражами, с карликовыми деревьями во дворе вдоль мощёных плиткой дорожек. В моё время там сделали горком комсомола, и в начале 60-х меня там принимали в комсомол. Вместе со мной принимали и китайца Аркашку Цунь-Кин-Сяна, который учился в нашей школе. На вопрос комсомольских вожаков: «Какое большое событие произошло в нашей стране?», имея в виду очередной съезд партии, Аркашка ответил: «Свадьба моего брата!» Помню я и нашего соседа, маленького, юркого китайца дядю Ваню Хуа, который торговал на базаре примусными иголками, синькой, комками извёстки, шариками из папье-маше – они подпрыгивали на резинке. Фамилия дяди Вани всех, конечно, веселила, а между тем, «Хуа» по-китайски «счастье». Для кого счастье, а для кого и выражение более сильных чувств. Так что китайцы в то время были неотъемлемой частью Семипалатинска. СССР дружил с Поднебесной: «Русский и китаец – братья навек!», а вот в XIX веке, во времена Чокана Валиханова, Китай был закрытой страной, тайны свои строго оберегал, не пуская к себе иностранцев, отгородившись от них и набегов кочевников Великой Китайской стеной, и Чокан проник туда, предпринимая разные хитрости и подвергая себя нешуточной опасности. Валиханов встречался в Семипалатинске с Достоевским, и с тех пор они сидят рядом на каменной скамейке возле дома, где Фёдор Михайлович тогда жил: памятником стали.

К сожалению, сегодня здание Географического общества разрушено, как и многие другие. Наш провинциальный городок тщится выглядеть суперсовременным, ставит безликие высотки, и тем лишает себя неповторимого колорита, чарующей ауры минувшего времени, исторической памяти. А как было бы хорошо, если б современность мирно соседствовала со стариной. Разрушены Афонинские ряды, магазины известного по всей Сибири купца Плещеева (с ним дружил мой прадед Максим Чернов – владелец маслобойки и огромных плантаций подсолнечника под Семипалатинском, зажиточный казак, семья которого была когда-то сослана за бунт из Оренбурга в Сибирь. Плещеев – в шутку – просил Максима продать ему свои роскошные, смоляные кудри); снесены дома, где останавливался Абай, приезжая из своего аула (один такой дом находился по соседству с нашим домом, на улице Абая, 111 – там теперь выстроена теплоцентраль), стоит в руинах кирпичное здание бывшей женской гимназии – там в советские времена был Зооветеринарный институт; уничтожены казармы, где служил Достоевский, и домик, где жила Мария Исаева – первая его жена; взорваны великолепные храмы и мечети, и т. д. Всё потеряно безвозвратно.

\* \* \*

Валерий лепил Засядько из глины. Потом бюст Героя должны были перелить в бронзу. Где он теперь стоит – не знаю. Я заходила в мастерскую после уроков. Часто заставала там художников, которые шумно спорили о нежной линии Модильяни, о вытянутых фигурах его пластичных женщин, будто бы отражённых

в неровных зеркалах, ругали «передвижников» за натурализм, доставалось даже Шишкину – за тот же натурализм, хотя автор «Трёх медведей» на советских конфетных обёртках к «передвижникам» не примыкал, а Левитана ругали за слащавость, зато Серов и Врубель дружно приветствовались. Говорили об авангардистах, перенявших размытые лица у скульптуров Микенской культуры. Говорили о Ван-Гоге: где грань между талантом и безумием? И почему Гогена мучила зависть к великому Ван-Гогу, хотя Гоген и сам велик? Или гений хочет быть в абсолютной пустоте, один, как Господь Бог, и никого не терпит рядом? Свет поглощается светом? Спорили о многом и при этом пили дешёвое вино, закусывая килькой. Килька в то время была весьма популярна среди населения, особенно весёлого: она стоила копейки.

Валерий всегда был окружён друзьями, считался душой компании – за своё остроумие и лёгкий нрав. Но пора сказать о главном его друге, Ваське. Мы в шутку звали Ваську Квазимодо. Как раз прочитали роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Валерий и Квазимодо дружили с детства, вместе поступили в художественное училище. Но на художника Квазимодо учился плохо, и поэтому не получал стипендии. Помощи из дома тоже не получал – семья бедно жила. Но Валерий не давал ему унывать:

– Ничё, брат! На мою стипешку проживём!

И они жили – и всё у них было общее: и один парадный пиджак на двоих, и один галстук, и один батон с маргарином. Вместе бегали в художественную галерею – на выставки или копировать картины великих мастеров. И вот выучились. Но только Квазимодо на этом и остановился, а Валерий поступил на заочное отделение Львовского полиграфического института. Он был не только скульптуром, но ещё и прекрасным графиком, и оформлял книгу украинского писателя Головки, а я писала за Валерку курсовую по творчеству этого прозаика. Валерий всегда находил себе работу, а Ваське постоянно не везло, и Валерий иногда отдавал ему свои заказы, а когда устраивались выставки, убеждал организаторов выставить и несколько работ Квазимодо. Они, конечно, проигрывали рядом с работами Валерия, но всё равно кто-нибудь да останавливался возле нехитрых портретов и пейзажей Квазимодо, а то и покупал.

Квазимодо, в отличие от Валерия, не был красавцем. Приземистый, с вросшей в плечи головой, будто у горбуна из «Собора Парижской Богоматери», неуклюжий, потому-то мы и прозвали его Квазимодо. Но широкое, плоское лицо его всегда сияло добродушной улыбкой, а лёгкая картавинка делала Квазимодо даже симпатичным. При встрече они с Валерием всегда обнимались, как братья, и были почти неразлучны. Когда Валерий оставлял Квазимодо ради меня и мы сбегали, Квазимодо сердился, но терпел.

С девушками ему не везло, даже когда он купил себе пальто лазоревого цвета и такие же штаны, над которыми мы с подружками потешались. И всё же: друг моего друга – мой друг! Для моего поколения это было святое правило, и мои подружки терпеливо позировали Квазимодо – он был неплохой портретист, мы с Валеркой подыскивали ему и других натурщиц – для невинных, конечно, рисунков, помогали в организации выставок, пытались устроить ему личную жизнь. Квазимодо сильно хотел жениться. Я стала его сватать к родственнице моей школьной подружки Галии – Саре. У них завязалась переписка. Я тоже писала Галие в Алма-Ату:

«Квазимодо страстно любит Сару, но вчера ей изменил с Тайгой: целовался с ней вчасос...» Тайга – наша дворовая собака. Раньше у нас была собака Юнга, но ужасная разбойница: бегала по крышам сараев, гоняя котов, передушила всех соседских цыплят, и Юнгу пришлось отдать в деревню знакомым. На замену ей взяли смирную Тайгу, но оказалось, развратную: сразу же стала целоваться с Васькой.

На дружеские пирушки, на танцы, в театр Квазимодо неизменно ходил с нами, и мои подруги, хоть и подтрунивали над ним, но любили, как и мы с Валерием.

Мы с подругами налетали шумной воробьиной стайкой в мастерскую Валерия, он делал быстрые карандашные наброски – получилась целая серия портретов. Мы шутили: «Нам бы комнату в Эрмитаже, чтобы сделать портретную галерею, как сделали героям войны двенадцатого года!»

Иногда я приходила с новой знакомой – актрисой областного театра Зикой Гаевской. Гаевская – это её театральный псевдоним. Она стеснялась своей простонародной фамилии и деревенского происхождения, а матушка её, привезённая Зикой из Сибири, сокрушалась о занятиях дочери, когда к ним в тесную комнату набивались шумные, хмельные актёры:

– Чё ли это театр? Поди, в сумашечном доме работаешь, а брешешь, што в театре? Надо было тебя на счетовода учить. Всё лучше, и при деньгах была бы...

Зика лет на шесть старше меня, но это не мешало нашей дружбе. Познакомились мы с ней, когда она выступала с театром у нас в школе. Директор школы Зиновий Дмитриевич Кархатский был большим любителем разных искусств, и к нам часто приглашались подобные гости. Однажды заехал из Москвы композитор Леонид Афанасьев, с которым Кархатский учился в семипалатинской школе им. Чернышевского, и теперь на этой школе есть мемориальная доска в честь Афанасьева, когда-то знаменитого в СССР композитора, там же и доска Героя Советского Союза Засядько – он тоже учился в этой школе. Зиновий Дмитриевич вручил Афанасьеву мои стихи, и композитор написал песню «Школьный вальс». Несколько лет она звучала по радио, с эстрады, была на пластинках, и мне даже посылали гонорары, а потом вальс перестали исполнять и гонорары кончились. Произведение было не из великих – это бесспорно.

## Предательство

Зика Гаевская любила поэзию и много стихов знала наизусть, а это ведь были 60-е годы, хрущёвская «оттепель», когда поэты стали героями нашего времени, когда они выходили на площади, читали дерзкие стихи в переполненных студенческих залах. Запрещённая прежде литература вышла из подполья. Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава – вот кумиры моего поколения, которые со временем померкли перед кумирами новых времён, а для меня – перед гениями русской литературы XIX века. Но тогда, в юности, мы читали взахлёб поэтов-шестидесятников, нам нравились их громкие строки: «У поэтов и революционеров одинаковые черепа...», «Её любили автомобили...», «Не трожьте музыку руками...» и т. д. Это и сблизило меня с Зикой. Я глядела на неё с восторгом, хотя отец, который работал администратором в театре и относился к театральному народу с подозрением, дружбу мою с Зикой не одобрял:

– Как актриса она вроде ценится, но сама по себе нехорошая...

– Да почему нехорошая? – не понимала я.

– Нехорошая и всё! – отрезал отец.

Что ж, театральные люди, наверно, не зря посвятили папе стишок: «*М. Т. Чернов, / У нас ты нов, / И потому / Ты удивляешься всему!*» Театр – это особый мир, непонятный и странный для человека с улицы, а папа был «с улицы». Как почти в любом провинциальном театре, актёры фальшивили и на сцене, и в жизни, подгаживали друг другу, и вообще, часто, закончив спектакль, забывали выйти из роли и продолжали кривляться. Папу, простодушного, чистосердечного по натуре, это удивляло и коробило, и меня – тоже. И если бы появился вдруг Станиславский и, строго глядя сквозь золотое пенсне, спросил: «Любите ли вы театр так, как люблю его я?» – то я бы честно ответила: «Нет! Не люблю!» Не люблю, если это шутовство и бездарное притворство. А так-то никогда не расставалась с театром, ведь писательство – это тоже своего рода театр перевоплощений. Зика была театральной девушкой, но она другая, настоящая – так мне тогда казалось, да и талантливо играла, и я продолжала дружить с ней, правда, теперь тайком от отца. Из театра он ушёл – стал директором городских парков.

В то время был у Зики роман с актёром Лебедевым. Зика рассказывала мне о своих любовных переживаниях, и я узнала, что в перерывах между постельными сценами они с Лебедевым читают вслух... Белинского. Почему Белинского, а не Баркова или Мопассана? И ведь что ещё делали, черти: когда не читали, а занимались любовью, то книгу с портретом Белинского ставили так на тумбочку, чтобы он смотрел на их оргии. Бедный Белинский! Он был хоть и «неистовый Виссарион», страстный в своих критических разборах литературных современников, однако отличался стыдливостью и трепетностью романтика, поэтов часто идеализировал, писал о них высоким слогом, становясь и сам поэтом. Как он, наверно, краснел и мучился, возлежав третьим в постели бесстыжих любовников. Выходит, папа не зря отрицал Зику.

\* \* \*

Как-то я долго не приходила к Валерию, а когда пришла, то обнаружила в его мастерской глиняную фигурку обнажённой девушки, над которой Валерий трудился, отставив Героя СССР Засядько. Героя Валерий повернул к девушке затылком, и суровый Засядько смог сохранить героическое спокойствие, тем более что Валерий замазал ему глаза.

Глиняная девушка лежала в той же позе, в которую укладывал Валерий меня на красно-вишнёвом покрывале матушки, но фигура не похожа на меня. У глиняной красотки были упитанные, округлые формы, большая грудь и кошачий изгиб спины.

– Кто это? – ревниво спросила я.

– Это композиция «Утро. Пробуждение».

– И с кем ты пробуждался? Тебе кто-то позировал?

– Да!

– Кто?

– Погоди, дай закончить, потом поговорим!

Значит, подумала я, он всё-таки приводит в мастерскую девиц, которые соглашались ему позировать голыми. И что потом делает с ними? Меня обдало жаром,

но я смолчала. А Валерий между тем быстро работал стеклом с лицом «Утра», подправляя его и своими гибкими, сильными пальцами, и я в нетерпении ждала, когда проявится личность подлой натурщицы. Лучше бы мне этого не видеть! Когда он отошёл от скульптуры и меня с собой захватил, я увидела, что это моя подруга – Зика Гаевская. Сомнений быть не могло: она позировала ему!

Внутри меня взорвалась бомба. Я оттолкнула Валерия, вылетела из мастерской и помчалась к Гаевской. Зика была дома. Забравшись с ногами на тахту, учила роль. Я влетела к ней, как шаровая молния.

– Ты, ты, ты! – я задыхалась, я не могла говорить.

– Откуда ты, безумное дитя? – спросила Зика. – Садись сюда! – она потянула меня на тахту, но я брезгливо отбросила её.

– Не прикасайся ко мне, предательница!

– Ёлки-моталки! Да что случилось? Ничего не понимаю...

– Что? Я видела тебя сейчас у Валерия, голой!

– Как видела? Я же весь день дома просидела, вот учу роль. Ставим «Чайку».

– Скажи честно: ты позировала ему?

– А-а, так ты про это? – рассмеялась Зика. – Позировала. Что тут такого? Это же для искусства. Ты, как поэт и художник, должна понимать.

– Голая позировала?

– И голая тоже.

– А что было потом?

– Когда потом?

– Ну, после сеансов?

– Да ничего не было, – но я видела, что Зика занервничала.

– Зика, скажи правду, иначе умру. Скажи!

– Ну, понимаешь... ты ведь ещё маленькая, школьница и всё такое, а он уже взрослый мужик, и я тоже взрослая... Мы живём этой жизнью, нам это необходимо, понимаешь? Нам надо. А то что же выходит? Ты его раззадоришь – и в кусты, а ему после этого как быть? Он ведь живой человек. Вот и бежит к женщинам.

– И к тебе бегал?

– И ко мне... Презираешь, да? Я же говорю: маленькая ты ещё...

– А как же твой Лебедев?

– Улетел мой белый Лебедь... Мы расстались...

– Так тебе и надо!

Я разрыдалась, а Зика прижала меня к себе, гладила по спине и плакала вместе со мной, и говорила:

– Не реви! Он тебя любит, а с нами просто так... не реви...

– Правда, любит?

– Правда.

– Откуда ты знаешь? Ты ведь так говоришь, чтобы меня успокоить.

– Нет, я знаю, чувствую, да это и так видно.

– Зачем же ты тогда, а?

– Да, действительно, зачем?.. От испорченности, наверно... Твой отец прав: я плохая...

– А он зачем?

– От отчаяния. Да потом, бабы ведь подлый народ, любого парня с панталыку собьют. Но Валерка хороший. Запомни – он хороший! Он очень хороший! Не плачь...

Но я плакала. У Чехова есть рассказ: «Плохой хороший человек». Таким и был Валерий. Горевала я, горевала, а потом нашла «детское» утешение: «Что мне гадкая Зика и гадкий Азаров? У меня есть ОН – мой Мираж! ОН ведь где-то есть, и я, может быть, снюсь ему, как и ОН мне снится, и ОН меня любит, хоть никогда не видел. ОН меня не предаст!»

Я погружалась в мечты о неведомом Мираже, сочиняла разные истории с ним, где мы были вместе и счастливы, где нас никто не мог достать и никакая земная грязь не касалась. Там – чистота и Музыка! Мне хотелось, чтобы ОН был горным инженером. Я не знала, что это такое, но уж больно гордо звучало: «горный инженер»! Я и сама хотела стать горным инженером. Мне виделись отроги снежных гор, бескрайнее небо во все концы, и мы с Миражом, оба горные инженеры, на вершине, среди эдельвейсов и льдов. Одни на всём белом свете! Внизу, в долинах людей, как в адском котле, кипят порочные страсти, предательство, война, а здесь – чистота и любовь, и божественная Музыка. Грёзы эти так захватывали меня, так возвышали над вероломным бытом, что я, в конце концов, после слёз и мук, простила предательство и Зике, и Валерию, хотя горечь, конечно, осталась.

С Валерием отношения продолжались, а с Зикой расстроились, да она и уехала вскоре: к ней вернулся Лебедев, и они укатили в город Вольск, в другой театр.

## Побег

Столько времени прошло... Беспощадная память стирает воспоминания. Остаются только разрозненные страницы, отдельные пятна, обрывки разговоров – кадры, выпавшие из длинной киноленты жизни, которые я тороплюсь запечатлеть, пока не исчезли и они.

Вот я мечусь в горячке. У меня жар. Бред. Прихожу в себя, рыдаю. Родители узнали о моём романе с Валерием – донесла моя тётушка Настя. Она работала техничкой в Краеведческом музее, где была у Валерия мастерская. Примчалась к нам, выпучив глаза:

– У него там голые бабы из глины! – пугала она моих родителей, и сама ужасалась: – Пол мою, а оне выгибаются, оне титьки выставляют. Срамотень одна! Да хоть ба титьки были, а то смотреть не на што! Вон у меня – поди, глины на их уйдёт грузовик, а то и все два!

Тётя Настя, в самом деле, была велика телом, и когда её укоряли, что толстая, она весело отвечала:

– Тю! Страна у нас большая – поместьёсь!

Она донесла, что у нас с Валерием не просто «тити-мити», как она говорила, а мы сговорились бежать в Усть-Каменогорск, где ему предложили хорошую работу, и он уговаривал меня ехать с ним. Я мешкала с отъездом, трусила, но он убеждал, что мы потом поженимся, он обещает выучить меня, и вообще, содержать – тётя Настя подслушала наш разговор. Я уже собрала чемодан, но была обезврежена отцом. Поднялся тарарам. Мама плакала, говорила со мной, говорила с Валерием – ходила к нему домой. Валерий сказал, что готов жениться на мне хоть сейчас, не дожидаясь моего совершеннолетия, но это ещё сильнее испугало

родителей. Они требовали, чтобы он дал слово не приближаться ко мне, иначе у него будут неприятности на работе. И он пообещал. Отец настаивал, чтобы и я перестала думать о Валерии: мол, все художники – люди несерьёзные, ненадёжные, ветреные, пьют и портят хороших девочек, а ещё – первая любовь бывала у всех, и у него, моего отца, тоже была. И он рассказал о своей первой любви, которую звали Наташа. Любил, любил Наташу, а потом женился на моей матери, когда повзрослел. И я повзрослею и встречу настоящую свою любовь. Однако рассуждая, вздыхал: «Эх, была у меня Наташа...»

Я знала из семейных преданий, что он и меня хотел Наташей назвать, да мама воспротивилась. Зря! Иногда я очень даже чувствую себя Наташей и люблю это имя. И сестру мою мама не захотела назвать Наташей – видно, ревновала. Тогда отец настоял на Зине, потому что умирающий его фронтовой друг просил: если родится у папы когда-нибудь дочь, назвал бы Зиной – в честь сестры этого друга. И только когда появилась у папы внучка – мечта его сбылась: теперь есть у нас Наташа – красавица и умница, мастер спорта по гимнастике.

Я внимательно слушала отца, особенно о его первой любви, но когда он вновь стал настаивать, чтобы я бросила Валерия, то начала рыдать: «Нет, нет и нет! Я его люблю и ни за что не брошу!» У меня опять началась горячка с высокой температурой и бредом. Да, натерпелись со мной мои бедные родители!

...Вот другой «кадр»: я в разлуке с Валерием. Реву по ночам, а днём пишу стихи:

*«...Ещё шоль не выговорил всласть / Свои дожди всем полночам полынным, /  
Ещё моя душа не унеслась / Вслед за осенним клином журавлиным, / Ещё речную  
не состарил гладь / Волнами ветер – он летит южнее, / Но уж пора пришла,  
когда терять / Мне стало легче, а любить – сложнее. / Что ж торопила летних  
ягод алость? / И плачу там, где раньше я смеялась...»*

Строки «пожившего» столетнего человека! Терять я только начала...

Валерий после родительских бесед затаился: тётя Настя была начеку! В этой ситуации ему, конечно же, лучше было бы уехать в Усть-Каменогорск, но там что-то не заладилось, и он не уехал.

У нас не было телефонов, и мы обычно встречались, не сговариваясь: просто я знала, где найду его, и шла туда – и он всегда меня там ждал, под каким-нибудь деревом или возле круглой театральной тумбы с афишами, но чаще всего – на берегу Иртыша или на Полковничьем острове. Никто и никогда не чувствовал меня так остро, как Валерий. Если мы шли по песку, и я наступала босой ногой на камешек – Валерий вздрагивал, будто сам наступил. Когда я болела – он тоже терял силы. Такая невероятная связь была между нами, будто мы близнецы.

Мы и теперь приходили на свидания, но не подходили друг к другу: я пряталась за деревом, а он выглядывал из-за угла дома: он дал слово моим родителям не приближаться ко мне. Я бродила по острову, срывая одуванчики, а он мелькал тенью в зарослях боярышника. Боже мой, какими детьми мы были!

После неудачного побега прошло полгода. Родители зорко следили за мной. Однажды я проснулась, будто от толчка в сердце: «Валерий!» С ним что-то случилось, что-то случилось... На цыпочках вышла в сени, наскоро оделась

и нырнула в морозную ночь. Неслась по пустому городу. Одна. Мне тогда не было страшно. Твердила лихорадочно: скорей! скорей! Но вот, наконец, его дом. Все окна тёмные, и его окно тоже. Постучала. Долго не открывали. Потом послышались шаги. Хриплый голос: «Кто?» Валерий открыл дверь – и тут же ухватился за косяк: он едва стоял на ногах. Горло его было обмотано шарфом. Лицо пылало. У него оказалась сильнейшая ангина. Матери дома не было – она уехала к родственнице, и Валерий погибал – он уже с трудом дышал. Я помчалась к его брату, Генке, затарабанила а окно школьной пристройки. В школе был телефон, мы вызвали врача, сбегали в дежурную аптеку. Каждый день приходила я к Валерию, пока он не поправился. Дома, конечно, снова был скандал, но я уже никого не слушала, и так ошетибилась, что родители отступили, предупредили только:

– Смотри сама! Надеемся, ты будешь теперь благоразумна.

Мама, которая особенно сердилась на меня, принесла Валерию горячих беляшей и мёду, и они с Валерием долго разговаривали, и она гладила его по горячей руке. А тут и Ирина Петровна вернулась. Стало совсем хорошо.

...Вот ещё «кадр» из памяти: мы с Валерием сидим на скамейке в пустом парке. Март. Снег кое-где начал подтаивать, но ещё студёно. На голых ветках клёнов сидят вороны. Так же молча, как и мы с Валерием. Мёрзнут руки. Валерий греет мои покрасневшие пальцы, дыша на них. Мне страшно, потому что я решила объясниться ему в любви. И хоть мы давно уже с ним встречаемся и не раз говорили о любви, но это как бы не всерьёз, как бы репетиция, и все мои прежние детские влюблённости, в того же Миража, тоже репетиция главной любви. От неё веду я отсчёт моего золотого века любви. И вот теперь наступил решительный момент сказать об этом, но язык стал чугунным. Валерий, видимо, понимал моё состояние, и сам закаменел, напрягся. Наконец, я собралась с духом и мёртвыми губами выдохнула:

– Я люблю тебя...

Он побледнел. Больно сжал мои пальцы. Прошептал:

– Я тоже... Я тоже очень-очень тебя люблю...

Мы не целовались. Мы даже не обняли друг друга. Мы сидели по-прежнему истуканами, глядя в одну точку, будто замёрзли навсегда, будто стали ледяными статуями. Может, и теперь на этой скамейке в парке стыннут наши ледяные тени, сказавшие о любви...

...А вот я в его мастерской. За окном проливной дождь. Я промочила туфли и, скинув их, босая, сижу на столе, среди набросков, эскизов, рассыпанных карандашей и кисточек, на картонной палитре завихрения ярких красок, как на картинах Ван Гога: клубки облаков, клубки деревьев, клубки солнца. Валерка – рядом, на корточках. Водит пальцем по моим ногам:

– А у тебя красивые ноги! Я их слеплю.

– Как? Просто одни ноги?

– Да, просто одни ноги!

– И как назовёшь?

– «Ноги любимой». А ещё будут скульптуры: «Грудь любимой», «Глаза любимой», «Губы любимой» – очень много скульптур!



Он подхватывает меня на руки, кружит по мастерской, и снова склоняет к греху, а я смеюсь, ускользаю от него, хитрю и не даюсь. Он прижимает меня к стене – я похожа на распятие, я задыхаюсь, а он почти в безумии:

– Ну когда же, когда? Мы уже столько вместе. Я люблю тебя. Когда?

Чтобы отстал, обещаю:

– Через год! Когда мне будет восемнадцать! – а сама думаю: это ведь так не скоро! (Какая, однако, я была правильная девица. «Ледышка» – как звал меня Валерий. И куда потом всё подевалось?)

– Ладно! Вот тебе карандаш – пиши на стене клятву!

– Какую ещё клятву?

– Пиши: «Клянусь сделать Это...» Так, какое нынче число? Ага! 2 мая...

Пиши: «Сделать Это 2 мая 1965 года», и подпись. Ставь, ставь подпись – это документ!

...А вот и май 1965 года. Я принесла Валерке газету «Ленинская Смена» с моими стихами:

*«Солнце, солнце, какое солнце! / Будто вылили шар из бронзы, / Будто встал во весь рост художник – / И плеснул золотую краску, / И она потекла по небу, / И забилась стоглазым солнцем!»* Ну, и т. д. «Художник с краской» – конечно же, Валерий! А рядом маленькая поэмка «Заряна»: *«Если в степь однажды выйдешь рано, / То увидишь, как роса дрожит – / Огненная девушка Заряна / По траве некошеной бежит...»* Заряна – конечно же, я! Главное – к стихам было напутствие Роберта Рождественского. Тогда Рождественский считался чуть ли не главным поэтом страны, и его благословение – это всё равно, что Державин Пушкина, «в гроб сходя, благословил». Валерий долго не мог успокоиться, потрясал газетой:

– Это же не знаю что! Это же...! У тебя великое будущее!

Но я не залетала так высоко, и была права. Когда перечитываю ранние мои сочинения – мне стыдно. Ловкие, милые даже для 16-17 лет стишки, но нет свежести, оригинальности, и – ни малейшего проблеска поэзии. Не понимаю, чем они могли пленять моих читателей тех лет? Слава была невероятная! Но отец пытался вразумить меня, говорил, что пора задуматься о настоящей профессии, а сочинение стишков – это детское увлечение. Пройдёт! Но ведь именно отец первым растолковал мне, что такое рифма, размер, ритм. Показывал по томику Пушкина – Пушкина он любил беззаветно! Помню такую картину из детства: папа, большой, в солдатской гимнастёрке, ходит по тесной кухне и вдохновенно читает:

*«Прощай, свободная стихия! / В последний раз передо мной / Ты катишь волны голубые / И блещешь гордою красой!»*

Пылает печь. Мама, блистая «гордою красой», сердито гремит чугунами. Она страдает от того, что молодость её и краса пропадают бесславно: у неё трое детей, дом, огород, скотина – корова, поросёнок и куры, а она хочет танцевать, потому что у неё к этому талант, и до встречи с папой она была примой на деревенских танцах, и каждый вечер приходил в клуб взрослый мужчина – высокий, чужой, в хорошем костюме, и приглашал её на вальс-бостон. Она улетала с ним, едва касаясь пола кончиками ног, а молодёжь, прижавшись к стенам, с восхищением наблюдала этот полёт, который, наверно, являл собой настоящее искусство. Гар-

монист краснел – был влюблён в маму. Кавалер всегда танцевал с мамой только один танец и тут же уходил, а маму подхватывали другие парни – очередь была с ней танцевать, ни минуты не отдыхала. И когда провожали её с танцев домой, так она ещё на мостике через ручей чечётку била. Бабушка Таня говорила: «Уж за Линушку-то я спокойна – ноги её всегда прокормят!» Но так и не стала она танцовщицей – работала заведующей столовой Обкома партии. Правда, довелось ей кормить секретаря ЦК Кунаева, диктора Левитана, космонавта Германа Титова, звезду советского кино Надежду Румянцеву, которые заезжали в наш степной городок.

## Поверженная крепость

Валерий тормозил меня, размахивал газетой с моими стихами и напутствием Роберта Рождественского и уверял, что мы с ним прославимся, и даже станем великими и бессмертными. Самоуверенность юности! И он великим не успел стать, и я тоже не стала. Но тогда мы этого не знали и мечтали о славе. Потом Валерий подвёл меня к стене с моей клятвой:

- Ты помнишь?
- Помню...
- Тогда поехали!
- Куда?
- Поехали!

Мы сели в автобус. Весна очень жаркая, будто июль. В автобусе душно и мы открываем окна. Пассажиры, весёлые, пьяные, песни орут. Первوماй! Мы с Валерием едем за город, в бор. Вскоре остаёмся в салоне одни – толпа хмельных пассажиров выгружается в посёлке «Кожзавода». Мне тоже хочется выйти с ними, но, как приговорённая к расстрелу, остаюсь на месте. Валерий обнял меня и, конечно же, ни за что не отпустит: я у него в плену! К тому же, слово дала – сделать «Это» через год, как же можно нарушить?

Автобус высаживает нас на границе песков, где кончается асфальт. Дальше мы идём среди барханов, к стене красных сосен. Остро пахнет разомлевшей живицей и молодой полынью. Углубляемся в заросли каких-то колючих кустов, усыпанных мелким розовым цветом. Продираемся сквозь бурелом, и, наконец, находим чистую поляну. По краям поднимаются высокие цветы и густая трава. Валерий тянет меня туда. Иду, спотыкаясь о старые шишки и выпирающие из земли корни. Бросает в свежую траву свой пиджак, опускает меня на него и сам ложится рядом. Я отрешённо гляжу в небо. Оно высоко синее между верхушками мачтовых сосен, которые сходятся вверх в узкий конус. Ни облачка. Монотонно поют пчёлы. Высокие цветы окружают нас, тянутся тоже к небу, вслед за соснами...

...Счастья не было, только печаль. Я лежала на траве, как смятая бабочка, а Валерий возвышался надо мной в позе победителя: крепость была взята! И – разрушена. Ни слезинки не проронила. Молча и униженно оделась. Молча пошла за ним, утопая в барханах. Наконец, выбрались к дороге. Я стала вытряхивать песок из туфель. Валерий стоял, отвернувшись к городу, откуда должен был придти автобус, грыз травинку. Потом сказал, не оборачиваясь ко мне:

– Ты же понимаешь, я не могу сейчас на тебе жениться... Мне учиться надо, да и тебе – в институт поступать... Ты же понимаешь?

– Понимаю. Не переживай, никто и не собирается за тебя замуж.

Он резко повернулся ко мне:

– Ты что, правда, не хочешь?

Я хмыкнула и ничего не ответила, а тут и автобус подошёл. Ехали, как чужие. Я отрешённо глядела в окно. Он всё грыз и грыз свою травинку. Хмуро расстались.

Дня через два Валерий нашёл меня. Я сидела в парке, на нашей «мартовской» скамейке. Тихо сел рядом.

– Хотел пригласить тебя к нам домой, завтра. Mamka пельменей налепила, зовёт. Брат будет, Геннадий. Хочу тебя с ним познакомить.

– Зачем? Я вроде бы с ним знакома...

– Знакома, да не так. Теперь как будущая родственница познакомишься...

– Вот ещё!

– Ну, ты же знаешь, мнение старшего брата для меня – закон! Он всё и решит.

– А ты что же?

– А я, как брат скажет. Я его должен слушать!

– Вот и слушай, а я не приду!

...А вот ещё «кадр». Валерка каждый день приходил к почтамту и ждал меня. Я вела активную переписку, часто ходила на почту и, кроме того, получала там переводы за свои публикации. Я холодно здоровалась с ним и проходила мимо, но однажды не выдержала. Как раз получила гонорар – целых десять рублей! – и, подхватив Валерку, закружила, мы помчались в магазин, купили большой кулёк конфет и стали раздавать прохожим: кому-то мимоходом совали в карман, насыпали в ладони, кому-то тайком подбрасывали в сумку, и хохотали, хохотали! Заскакивали в подъезды чужих домов, целовались. Господи, какое счастье! Но в тот же день снова поссорились.

\* \* \*

Стремительной ласточкой пролетела весна. Так же стремительно лето. Мы редко виделись, и то мимоходом. Валерий съездил во Львов на сессию и вернулся. Съездил в Киев на выставку. Пытался опять сблизиться. Подарил коричневый орех каштана, который привёз из Киева. Завлекал снова в лес, говорил:

– Mamka жениться заставляет. Вот, обещание написал! – и он показывал синюю школьную тетрадку со своим обещанием, но я выворачивалась из его объятий, ускользала. А осенью он заболел. Его положили в больницу. Рак! Сделали операцию. Нужна была кровь. Все друзья потянулись сдавать, и я тоже. У всех взяли, а у меня – нет:

– У вас анемия, нельзя!

Я настаивала, но меня выставили из лаборатории. Анемия – от облучения. Наземные испытания атомного оружия на Семипалатинском ядерном полигоне продолжались. Говорят, мы пережили 450 Хиросим. Была у нас и «Кузькина мать» – водородная бомба, её обещал показать американцам Хрущёв, стуча по трибуне снятым ботинком. Бомба его веселила, хихикал, как шкодливого пацан: «Вот такого ежа мы запустили в штаны американскому президенту! То-то он поплясал!» Родители говорили, что если американцы начнут войну, то первую

бомбу сбросят на Семипалатинск, вторую – на Кремль. Окна в домах мы заклеивали бумагой, как в войну – крест-накрест, чтобы не вышибло взрывной волной во время испытаний. На улице Песчаной стояли приземистые здания больницы, где лежали люди с лучевой болезнью. В тёплые дни они выползали из своих палат, грелись на солнышке, кутаясь в больничные, серые халаты, но всё равно мёрзли. После взрывов обычно бывал чёрный ветер. Он внезапно налетал из степи, с воем мчался по улицам, подхватывал песок, закручивал его смерчами. Ветер был такой сильный, что мог поднять в воздух и больных, но тут выскакивали санитарки и загоняли доходяг в палаты. Ветер проносился мимо бешеным вихрем и падал возле заборов песчаными барханами. Говорили: болезнь Валерия от атомных взрывов.

...А вот ещё «кадр». Морозная январская ночь. Иду одна по пустынной улице и вдруг слышу Голос – неведомо откуда, может, с неба: «Твоим мужем будет Олег!» Я огляделась – никого нет, ни одной души. Пустая улица. Синий снег. Луна. Господи! Зачем мне какой-то неведомый Олег? Я люблю Валерия. Его одного и навсегда!

...И ещё «кадры» – самые страшные. Валерия выписали домой. Умирать. Но он хотел жить. Пил чагу, доставая из-под кровати большую чёрную бутылку. Я приходила к нему почти каждый день, после работы (я уже работала и училась заочно в университете). Помогала одеться, подвязывала под горлом вязочки зимней шапки, обматывала шарфом, как ребёнка. Мы выходили в зимний двор. Усаживала его на вынесенный табурет. Смотрели на голубей. Он сыпал им хлебные крошки, смеялся, когда они, встопорщив перья на шее и призывно воркуя, ходили вокруг голубок.

– Смотри, какие переливы цвета, – говорил он, – если смешать розовый с голубым, а потом добавить белил...

Потом он всё реже стал подниматься с постели. Лежал. Рисовал, устроив планшет на коленях. Опускал руку, доставал из-под кровати чёрную бутылку с чагой, отхлёбывал. Верил – берёзовый гриб поможет. Я сидела рядом. Молча глядела на него или читала ему. Он закрывал глаза, мучился от боли, но не стонал, только сильно сцеплял зубы.

Так прошёл февраль, март, апрель. От рака умерла его двоюродная сестра. Винили во всём атомные взрывы и радиацию. Ещё до смерти сестра рассказывала Валерию о том, какие перемены в своём организме чувствует. Теперь он вспоминал эти рассказы и то и дело находил всё это у себя. И врачи, и мать, и я скрывали, что у него рак. Врали: ничего страшного, скоро выздоровеешь. И он верил, пил чагу, но вспоминал откровения умершей сестры...

Он превратился в скелет. Жёлтая кожа обтягивала его костистое лицо, и только глаза оставались всё такими же прекрасными, живыми и неизменно встречали меня с весёлой нежностью. Я приносила ему то мимозы, то подснежники, и он вдыхал хрупкий аромат первоцветов, а потом рисовал их, но пальцы ослабели, и карандаш плохо слушался. Рисунки оставались незавершёнными.

Квазимодо тоже приходил, суетился:

– Ничё, брат, ничё! Поднимешься! Мне заказ дали – вместе будем делать. Ничё!

– Конечно, будем! – смеялся Валерий, – А ещё невесту тебе найдём, красивее даже, чем цыганка Эсмеральда!

Квазимодо смущался, краснел, оглядывался на меня. Когда я собиралась уходить, он вскакивал тоже. Я его останавливала, но Валерий говорил:

– Пусть проводит.

– Да что я, сама, что ли, не дойду? Светло же ещё!

– Пусть проводит! – настаивал Валерий.

Квазимодо неловко косолапил, не успевая за мной: я всегда быстро ходила.

Однажды шли мы так, он и говорит:

– Знаешь, что мне Валерик наказал?

– Ну, и что?

– Он наказал поухаживать за тобой.

– Вот глупости! Зачем?

– Ну, он сказал: чтобы ей, мол, не так больно было смотреть, как я умираю.

Пусть, мол, отвлечётся. Потом, сказал, женишься на ней.

– Врёшь! Врёшь ты всё!

– Не вру! К тому же, ты мне давно нравишься. Я денег накопил на дом, скоро куплю...

– Уйди! – я так толкнула Квазимодо, что он отлетел в сугроб, который не успел растаять и серым айсбергом высился посреди начавшей зеленеть клумбы. – Не подходи ко мне больше!

В последний день, первого мая, Валерий особенно мучился, но просил меня всё равно читать. Мы дочитывали роман Брэдбери. Не помню ни одного слова, читала механически, всё время прислушиваясь к тяжёлому дыханию Валерия. На ресницах его копились слёзы, но не скатывались. Ирина Петровна пряталась за ситцевой занавеской на кухне и тоже плакала – я слышала. Когда я дошла до последней страницы и захлопнула книгу, Валерий разлепил веки. Чёрные зрачки заполнили его глаза с краями. Он прошептал:

– Вот и всё... Поцелуй меня...

Я склонилась к нему, поцеловала в бледные губы.

– Какая ты весенняя, юная... И так не хочется умирать...

Я шла от него по шумным улицам. Гремела музыка, двигались демонстранты, кто-то плясал под гармошку. Я продиралась сквозь первомайскую толпу. Все поздравляли меня, обнимали, тащили в общий круг, но я вырывалась из пёстрых воронок, а потом и сама развеселилась, давай петь с народом «Катюшу», глотая слёзы. Дома был накрыт праздничный стол, собралась вся наша большая родня, уже выпили вина и меня заставили. Потом тётушки мои пустились в пляс, и я с ними. Плясала так, что меня еле остановили. Я была в безумии, в истерике дикого веселья.

А наутро в ворота громкий стук. Вышла – Квазимодо. Плачет:

– Только что Валерик умер...

\* \* \*

Я тяжело заболела. Однажды долго не могла заснуть, и вдруг услышала Голос – такой же, как тогда, морозной ночью, только раньше он говорил за здравие, а теперь за упокой:

– Сегодня ты можешь умереть!

После чего я тут же провалилась в темноту, а потом забрезжил свет, я увидела огромный зал кинотеатра с белым экраном, люди сидят, и я с ними. Люди тянут ко мне руки и наперебой говорят: «Пойдёшь со мной? Пойдём со мной!» Но я отталкиваю руки. Тут за спиной почувствовала чьё-то дыхание, будто ветер с неба. Оборачиваюсь – Валерий. У него огромные, чёрные, страшные глаза: в них нет никаких чувств. Они пустые.

– А со мной пойдёшь? – спросил он вкрадчиво, голосом убийцы.

– Пойду!

– А как же всё?

– Нет ничего!

– Так пойдёшь?

– Да!

И мы полетели по длинному тоннелю, у стен его, как подводные растения, колыхались голубые, бестелесные очертания людей, они в испуге смотрели на меня и пытались остановить, но невероятная сила несла меня к выходу из тоннеля, где ярким пятном сиял бело-золотой свет. Может, это и был Бог, которого на иконах мы изображаем человеком? А Он не человек – Он Свет! И скажу вам: умирать не страшно. Посмотрите на посмертную маску Достоевского – он улыбается. Хмурый и не улыбочивый на всех портретах, здесь он – улыбается! Он смеётся над тленной жизнью, над нашим страхом. И мой свёкор, Геннадий Николаевич Новожилов, умер с улыбкой. Убеждённый атеист, перед смертью попросил он принести ему Евангелие, и читал всё время, и умер со счастливой улыбкой.

Свет упал ослепительной стеной. Валерий встал на пороге этого Света – и обернулся ко мне. Длинный его, чёрный плащ спадал до пола. Глаза смотрели чёрными зрачками, за которыми был провал тьмы. Меня охватил ужас. Но Свет в проёме стены наполнял таким счастьем, таким небывалым счастьем, какого я никогда не испытывала прежде, и я хотела туда – к этому Свету.

– Ты готова? – спросил Валерий.

– Готова!

Я шагнула к нему, но тут к подошвам моим стали прилипать листки бумаги, рукописи, книжные страницы. Их было много, они тянули меня к земле и не давали дойти до Валерия. Голос сказал мне:

– Возвращайся и люби!

Он трижды повторил:

– Люби! Люби! Люби!

Внезапный вихрь подхватил меня и стремительно понёс по тоннелю назад. Я проснулась. Домашние не узнавали меня:

– Ты с неба, что ли, упала?

А я тогда, наверно, в самом деле, упала с неба.

*«...Мой сокровенный, где я? Что со мной? / Проснусь – и вновь поверю: ты живой! / Так пахнет мёдом от травы примятой, / И на холстах написаны – травой – / Холмы, и луг, и в речке перекаты, / А мёдом – отблеск вспыхнувшей грозы, / Что прокатилась, будто страсть, над садом. / Вот женщины в корзинах из лозы / Несут литые гроздьё винограда. / Сошли с твоих холстов, идут с холмов. / Тропа ведёт их непременно к раю. / Передохнут, и снова поднимают / Корзины*

*лета, и несут под кров, / А там целуют, лишь наступит ночь, / Своих любимых – жарки эти ласки. / И смерти Жизнь вовек не превозмочь, / И на холстах не погасить ей краски!»*

Я начала писать поэму «Холсты». У Валерия был живописный триптих: «Женщины с корзинами», «Рай», «Любовь». И после первых же строк поэмы болезнь моя кончилась. Я стала выздоравливать.

## ПОИСК ПОЭЗИИ

### Кабельмейстер

После окончания одиннадцати классов я устроилась работать на Семипалатинское телевидение, которое только что открылось. К нам съехались специалисты со всего Союза. Был даже диктор – из Дудинки. Народ молодой, весёлый. Подшучивали над директором студии – вальяжным, огромных размеров, который в бодром состоянии находился только до обеда. После обеда он уже растекался по креслу и впадал в дрему. Телеоператоры приносили ему заявки на съёмку, где писали: «Место съёмки – Марс», и он подмахивал, не глядя.

Взяли меня на экзотическую должность кабельмейстера, то есть я попросту таскала тяжёлый кабель за камерой телеоператора, чтобы кабель не гремел, но быстро выросла по службе: вскоре меня выдвинули в помощники режиссёра – сбрасывать заставки с пюпитра, а потом поставили редактором новостей. Это была уже творческая работа. На первом же задании я прокололась. Мы с оператором – назовём его Иса, таким же зелёным, как и я, делали одновременно два материала: о демонстрации в честь Октябрьской революции, и на передовой свиноферме. Бедный Иса! Он ходил по свиноферме, зажимая нос, бледный от отвращения, и то и дело закрывал лицо тубетейкой. Может, поэтому при монтаже всё перепутал, и получился такой сюжет: свиньи несутся из одного кадра (со свинофермы) в другой, где полощутся красные знамёна и движется демонстрация с портретами членов Политбюро ЦК КПСС. Свиньи как бы вливаются в праздничные колонны. Журналисты хохотали, а директор ТВ был в такой ярости, что пропустил несколько послеобеденных снов. Сюжет, конечно же, сняли с эфира, нам с Исой вклеили по выговору, правда, без занесения. Потом уж таких проколов у нас не было.

Я полюбила мою профессию, и прежде всего за то, что встречала интереснейших людей. Никакое писательское перо не может выдумать лучше, чем Жизнь. Вспоминаю, как мы с Исой заехали как-то в отдалённый аул, зажатый скалами Тарбагатай. Было задание снять жизнь чабанов, которые с началом лета перекочевали на джайляу. Там была неопишуемая красота! Свежая зелень взбиралась по крутым склонам, утыкаясь в ослепительное небо, рассыпанные по лугу овцы гляделись живописно, как на ярком старинном лубке. Мы беседовали со старым чабаном, и он спросил нас:

– Вот скажите мне, бала, как так? Два сына у меня: один хороший, пердовик, орден есть – так про него говорят мне, что таким его воспитала партия, а другой сын – жынды, в турма сидит, и про него мне говорят: ты его таким воспитал! Как так, а? Хорошего – партия, плохого – я? Или возьмём тульские самовары. При-

езжает к нам в аул автолавка и привозит самовары, но мне никогда не достается. Секретарю парткома Абеке есть, зоотехнику Кунеке есть, а мне нет. Спрашиваю автолавку: «Почему мне опять нет?» А автолавка отвечает: «Ата, все самовары именные, подписанные, потому Абеке и Кунеке есть, а вам Тула не прислала! Как подпишут, так сразу привезу!» Шайтан! Откуда в Туле знают наших Абеке и Кунеке?

Тут прибыли на джайляу местные партийцы – так сказать, отдохнуть на свежем воздухе. Иса снял их на фоне джайляу и тучных отар: мол, партийцы всегда с народом! Был выходной день, а в понедельник партийцы должны были двинуться в район на пленум. Всю ночь они гудели, выпили хорошо, а утром мы с Исой наблюдали такую картину: партийцы ползали по юрте, ища выход, и всё время бормотали: «Пленум, пленум... пленум, пленум...»

Ну вот что я за человек? Рядом с серьёзным непременно вижу смешное. И ведь запоминаю именно смешное, а не серьёзное. А старому чабану мы с Исой всё-таки достали самовар. Он был счастлив:

– Коп рахмет! Наконец-то в Туле и про меня узнали!

\* \* \*

Однажды телецентр потряс мощный голос. Все сбежались в аппаратную, поглядеть на певицу. Внизу, в студии пела маленькая девочка, очень смуглая, в коротеньком, белом платье из модного тогда кримплена. И вот из этого степного воробышка вырывался на волю мощный голос. «Кто? Кто это?» – удивились все. А это была Роза Рымбаева, которая выиграла какой-то конкурс: не то районный, не то областной, и теперь впервые выступала на TV. Отсюда, с Семипалатинского TV, начался её звёздный путь на большую сцену.

\* \* \*

В тот же год я поступила на заочное отделение журфака КазГУ. Перед экзаменом по истории мне приснился сон ужаса: будто бы я лежу на трамвайных путях, и некто голосом французского лингвиста Фердинанда де Сосюра грозно спрашивает:

– Когда будет коммунизм?

– Никогда! – отвечаю я.

Уже грохочет трамвай, вот-вот наедет на меня.

– Когда будет коммунизм? – ещё грознее вопрошает мой мучитель.

– Никогда! – стоически отвечаю я.

Колёса трамвая уже у моих ушей, а вопрос ещё страшнее:

– Когда был I съезд РСДРП?

– В I веке до нашей эры!

И тут я проснулась. Сон оказался в руку: мне достался билет именно с этим вопросом о съезде РСДРП, но я – после сна – подготовилась и хорошо ответила.

Два раза в год я стала ездить в Алма-Ату, на сессии, и там случилась моя встреча с будущим мужем Олегом, который заканчивал обучение на филфаке. Вот он, Голос зимнего неба: «Твоим мужем будет Олег!» Когда я впервые увидела его у подъезда дома моей подруги Галии Машаковой, у которой жила (а он этажом выше), то ни с того ни с сего брякнула:

– А вы знаете, что будете моим мужем?



Он покрутил пальцем у виска. А потом Галия нас познакомила, и мне было нестерпимо стыдно за мою выходку, а Олег рассмеялся, снова увидев меня: «А-а, моя жена!»

### «И вот начинается песня о ветре...»

Жизнь моя в Алма-Ате проходила очень насыщенно. Кроме учёбы и общения с Олегом, который меня всячески образовывал – в оперный театр водил, где я отчаянно зевала, хорошие книги подсовывал, завлекал в картинную галерею – я ещё посещала литературное объединение при Союзе писателей, где познакомилась со многими литераторами, в том числе известными в республике: Морисом Симашко, Павлом Косенко, Николаем Ровенским, Руфью Тамариной, Леонидом Кривощёковым, Дмитрием Снегиным, Александром Скворцовым, Сергеем Киселёвым, Валерием Антоновым, Александром Елковым, Иваном Щеголихиным. О Щеголихине особый сказ: врач по профессии, он писал остросовременные романы, но всесоюзной славы не получил и обиделся на Россию, тем более что в молодости ещё и отсидел на зоне (эта страница его биографии военных лет полна домыслов), но в Казахстане Иван Павлович был увенчан всевозможными почестями: стал народным писателем и сенатором, его любил наш первый Президент, но в то время, когда я с ним познакомилась, Щеголихин славился ещё и своими любовными победами, а поскольку мои «весёлые мемуары» не только о жизни и поэзии, но ещё и о любви, то в самый раз заострить внимание на этой стороне личности Щеголихина, который оправдывал свою фамилию: он был щёголем, он был импозантным красавцем и высоко глядел на всех, покуривая трубку. Он знал, что хорош собой. Много женских сердец было им разбито. Поэтесса Людмила Лезина, говорят, посвятила ему даже целый цикл стихов «Вишнёвая косточка», где отчаяние и гнев обманутой женщины. Меня Щеголихин почему-то никогда не прельщал, может быть, как раз из-за своей напыщенности, а вот Людмила Лезина обожглась, увлекшись им:

*«Я и бусы вот эти надела, / И надела цветастый шёлк. / Я не знаю, что надо делать, / Чтобы ты не ушёл... (...) Будь проклят! Я смерти твоей хочу. / Я дочку свою научу / Носить на запястье камчу / И неслышно ходить, как кошка... (...) Отношусь к тебе, как относятся к небу – / Равнодушно, потому что себе взять нельзя. / Как относятся к странам, в которых не были, / Но в которых живут дорогие друзья. / Глупо было бы ночью и днём / Лелеять эту любовь безликую. / Она так безнадежна, / Что стала великою. / Не горжусь, что – великая. / Не смеюсь, что – смешная. / За долгие годы я так к ней привыкла, / Что она мне почти не мешает / Дышать... Пойду по лесам – будут птицы мне петь. / Пойду по морям – будут рыбы свистеть. / Пойду по лесам – будут волки мне вслед смотреть / И хвостами вилять. / Разве я одинока?»*

Познакомилась я и с ослепительным Олжасом Сулейменовым (Олжас вёл семинары в литобъединении), и многими другими. До распада СССР, и особенно в 60–70-е годы, когда я из Семипалатинска стала приезжать в Алма-Ату, тогдашняя столица Казахстана была густо заселена русскими писателями, не говоря уже о казахах, с которыми я тоже знакомилась, и если рассказывать обо всех, то придётся писать многотомник. Жили также писатели – немцы, во главе с прозаиком и переводчиком Герольдом Карловичем Бельгером (многие потом уехали в свой Фатерланд); корейцы (корейский прозаик и драматург Хан Дин, бежавший из

тоталитарной Северной Кореи в СССР и окончивший в Москве ВГИК, создал в Алма-Ате корейский театр, подготовил плеяду талантливых русскоязычных писателей, которые, вслед за Анатолием Кимом, познакомили русского читателя с корейским народом, его обычаями и фольклором. Говорят, мать Кима с отроческих лет поила его корнем женьшеня, потому он так долго остаётся молодым, бодрым мужчиной, полным творческой энергии. Хан Дин женился на русской женщине – Зиночке Ветровой: она покорила его сердце блинами. Он спросил её: «Если я женюсь на тебе, ты будешь мне каждый день печь блины?» – И она пообещала, и пекла всю жизнь); был даже один болгарин-поэт, строитель казахстанской Магнитки – Арпад Бановски. Он мне потом помогал переводить болгарских поэтов, в том числе Калину Ковачёву – она приезжала в Алма-Ату из Софии в начале 80-х и в ответ на мои переводы тоже перевела и меня, и других наших поэтов. Так бывало часто – такой творческий обмен. Приехали якуты в тех же 80-х – и вот уже публикация на якутском, и дружба моя с прекрасным якутским прозаиком Колей Лугиновым и поэтессой Наташей Харлаамьевой. Мы якутов возили по нашим южным областям, и они, как дети, дивились тому, что вдоль дорог просто так растут урюковые и абрикосовые деревья, полные плодов, и никто их не рвёт, и они падают на дорогу и пропадают под колёсами автомобилей. Якуты просили остановить автобус, выскакивали и ели бесхозные плоды. Наташе особенно нужны были витамины – она носила ребёнка, и потом дочь свою назвала Надей – в мою честь, потому что это я уговорила её рожать. Работала Наташа в ЦК Комсомола Якутии и забеременела вне брака. Испугалась осуждения людей, проблем на службе, но я уредила её, что никакие пересуды и карьера не могут сравниться с ребёнком, к тому же возраст Наташи уже перешагнуло тридцатилетие. Куда ж ещё тянуть? И она меня послушала. Потом нарадоваться не могла на свою девочку. Слава Богу, что я спасла хотя бы одну жизнь.

\* \* \*

Но вернёмся в 60-е годы. На литобъединении читались нараспев магические строки Владимира Луговского:

*«Прощай, золотая, прощай, золотая, / Ты белыми хлопьями вкось улетаешь. / Меня укрывает от старых нападок / Пуховый платок твоего снегопада...»*

*«И вот начинается песня о ветре, / О ветре, одетом в солдатские гетры, / О гетрах, идущих дорогой войны, / О войнах, которым стихи не нужны!»*

Были популярны и восемь строк Наума Коржавина, который жил тогда в Караганде – после отсидки по 58-й статье он переместится в США (в Бостон):

*«Можно строчки нанизывать, / Посложней и попроще, / Но никто нас не вызовет / На Сенатскую площадь. / И в кибитках увенчаны / Мы не будем снегами, / Настоящие женщины / Не поедут за нами...»*

Как Белград, Прага или Париж 20–40-х годов стали культурными центрами России, куда после революции и гражданской войны бежали писатели, поэты, художники, артисты, так и Караганда 30–50-х годов была средоточием культурной элиты СССР. На Запад ссылали «философскими кораблями», а в Караганду гнали по этапу. Там сидели Заболоцкий, Чижевский, Зуев-Ордынец и другие – список длинный.

Многие в стихах ищут смысл, созвучие своим мыслям, а я всю жизнь искала Поэзию, искала Музыку. Как Диоген ходил с фонарём и восклицал: «Ищу челове-

ка!», так я хожу: «Ищу поэта!» Поэзия так редко встречается в стихах, даже очень хороших, даже классических. Смысл! Смысл! Всё отдано смыслу. А ведь Космос говорит музыкальными вибрациями. Один из астронавтов свидетельствовал, что слышал в Космосе звуки, похожие на утреннюю молитву мусульман «Азан». И церковные хоралы завораживают потусторонней, космической музыкой. Тот же астронавт сказал, что видел из Космоса на земле восходящие к небу золотые столбы света над православными храмами, особенно много их было над Россией. Россия расположена в двенадцати часовых поясах, и если в одном месте кончается богослужение, то в другом оно тут же начинается, и выходит, что молитвенная музыка звучит круглые сутки, непрерывно. Космос пронизан Музыкой! Но не все могут её передать в Слове. Даже Лермонтов сетовал на это и говорил в письме к Марии Лопухиной, что надо бы над словами ставить музыкальные значки. Теперь я думаю о моём любимом Пушкине: где было больше поэзии – в его стихах или в его жизни? Знаю пока что определённо только одно: жизнь его – это хорошо написанная книга, которая притягивает, как магнит, больше даже, чем его стихи. Завтра я, может, думать буду по-другому. Поэзия – это ведь тайна за семью печатями, разгадать которую и сам поэт не в силах, хотя живёт внутри этой тайны.

\* \* \*

Тогда же, на литобъединении, читали и Сергея Маркова. Поэзия Маркова вся пронизана Музыкой, которую не перескажешь прозой, которая вообще за пределом слов, потому что прежде слов ты слышишь Музыку: «*Знаю я: малиновою ранью / Лебеди кричат над Лебедянью, / А в Медыни золотится мёд...*», – эти строки поэта я пою до сих пор, и мне не важен смысл. Прочитала его книгу «Горячий ветер» только в 1987 году. Была так потрясена, что хотела немедленно лететь к нему, говорить о любви, о своём восторге: вот, вот мой поэт! Но оказалось, его уже нет в живых – и я расплакалась. Это было великое для меня горе, оно и теперь не остыло.

Сергей Марков, как и Владимир Луговской, когда-то жил в Алма-Ате. (Марков и родился в Казахстане.) Луговской называл Алма-Ату «городом вещих снов», но снился ему гром парадов, тарактение тракторов и горны недавней революции. Творчество Луговского относят к романтической поэзии, но это – увы! – была романтика социализма, пронизанная идеологией. Лирики, настоящей, какую я люблю, было немного.

\* \* \*

Узнала я и других поэтов, которые считались советскими классиками: Николая Заболоцкого, с его вечным вопросом: «*Что есть красота? / И почему её обожествляют люди? / Сосуд она, в котором пустота, / Или огонь, мерцающий в сосуде?*»; Эдуарда Багрицкого, который любил птиц и рыб, Анну Ахматову, Марину Цветаеву, Бориса Пастернака, Арсения Тарковского, Дмитрия Кедрина, Давида Самойлова – с его ярко выраженной пушкинской школой. У Самойлова с Пушкиным много переключек, в том числе и здесь: Пушкин написал «Песни южных славян» – Самойлов «Балканские песни». Пушкин и его окружение были постоянными героями его стихов, отчего Самойлов мне особенно близок. Он молчал все годы сталинской эпохи, пробавляясь переводами, как и другие поэты: Николай Заболоцкий, Арсений Тарковский, Мария Петровых. Отличные были

переводчики! Особенно повезло грузинским поэтам – их переводили больше всех, ведь Сталин был грузин, хотели угодить ему и спастись, может быть, от голгофы. Не все спаслись. Собственные книги молчащих поэтов вышли только после смерти Сталина, в 60-е годы. Писали в стол. Да и то было опасно. Один из писателей рассказывал, что даже в уме – не записывая – сочинять перестал: боялся, мысли его будут услышаны и за них расстреляют. Давид Самойлов мыслить продолжал, и когда миновали страшные годы, показал свои стихи людям. Некоторые его строки помню до сих пор. Вот из «Балканских песен»:

*«...Грянет выстрел. Упаду, / Пулей быстрою убит. / Каркнет ворон на дубу / И в глаза мне поглядит. / В этот час у нас в дому / Мать уронит свой кувшин / И промолвит: «Ах, мой сын!» / И промолвит: «Ах, мой сын!..» / Если в город Банья Лука / Ты приедешь как-нибудь, / Остановишься у бука / Сапоги переобуть, / Ты пройди сперва базаром, / Выпей доброго вина, / А потом в домишке старом / Мать увидишь у окна. / Ты взгляни ей в очи прямо, / Так, как ворон мне глядит, / Пусть не знает моя мама, / Что я пулею убит. / Ты скажи, что бабу-ведьму / Мне случилось полюбить, / Ты скажи, что баба-ведьма / Мать заставила забыть. / Мать уронит свой кувшин, / Мать уронит свой кувшин, / И промолвит: «Ах, мой сын!» / И промолвит: «Ах, мой сын!..»*

\* \* \*

Навсегда полюбила я и Бориса Корнилова. Короткое время был он мужем Ольги Берггольц, ставшей музой блокадного Ленинграда. Это её слова выбиты на мемориале Пескарёвского кладбища: *«Никто не забыт, ничто не забыто»*. Это ей посвящены Корниловым бодрые строки известной советской «Песни о встрече»: *«Не спи, вставай, кудрявая! / В цехах звеня, / Страна идёт со славою / На встречу дня»*. И в одном из своих стихотворений, фантазируя о будущем, он подозревал, что останется в памяти поколений именно этой легковесной песенкой. А мы распевали другие его, бесшабашные строки, которые раскачивались, словно каспийские волны: *«От Махачкалы до Баку луны плавают на боку, и, качаясь, плывут валы от Баку до Махачкалы»*. Именно этой бесшабашностью, русской удалью, перемешанной с татарской страстью, он мне, наверно, и понравился. А так-то, надо признать, поэт он неглубокий, короткого дыхания, быстро свернул на опасную дорожку идеологического заказа, хотя поначалу думал вернуться: *«Айда, голубарь, пошевеливай, трогай, / Коняга, мой конь вороной! / Все люди – как люди, поедут дорогой, / А мы пронесём стороной...»*

«Стороной» не получилось, и он, как многие, стал писать лобовые «советские» поэмы, уничтожать «кулака», т. е. крепкого крестьянина, нажившего достаток трудом, бичевать деревню, откуда и сам вышел и которую прежде романтизировал и писал в народном духе. Конечно, времена были такие, что приходилось хитрить, чтобы выжить. И более лояльных к власти людей казнили. И всё же Корнилов иногда рвал постромки, нёсся своим бездорожьем: «злой, и молодой, и непослушный», и тогда писались по-настоящему прекрасные строки – свободные! И среди них «Соловьяха». Поэт долго подступался к ней, мотивы «соловьиной ночи» мелькают и в других его стихах. И вот – собрал в солнечный узел все силы, ударил, как соловьиный гром! Когда-то я «Соловяху» читала всем и каждому, захлёбываясь от восторга. И там такая переключка с любимым моим Павлом Васильевым!

«У меня к тебе дела такого рода, / Что уйдёт на разговоры вечер весь. / Затвори свои тесовые ворота / И плотней холстиной окна занавесь, / Чтобы шли подружки мимо, парни мимо, / И гадали бы, и пели бы, скорбя: / «Что не вышла за ворота, Серафима? / Серафима, больно скучно без тебя...» / Чтобы самый ни на есть раскучерявый, / Рвя по вороту рубахи алый шёлк, / По селу Ивано-Марьину с оравой / Мимо окон под гармонику прошёл. / Он всё тенором, всё тенором со злобой / Запевал – рука протянута к ножу: / «Ты забудь меня, красавица, по пробуй... / Я тебе тогда такое покажу. / Если любишь хоть всего наполовину, / Подожду тебя у крайнего окна, / Постелю тебе пиджак на луговину / Довоенного и тонкого сукна...» / А земля дышала, грузная от жиру, / И от омута соминого левой, / Соловьи сидели молча по ранжиру, / Так, что справа самый старый соловей. / Перед ним вода – зелёная, живая – / Мимо заводей несётся напролом. / Он качается на ветке, прикрывая / Соловьишу годовалую крылом. (...) / Соловьиша в тишине большой и душной... / Вдруг ударил золотистый вдалеке. / Видно, злой, и молодой, и непослушный, / Ей запел на соловьином языке: / «По лесам, на пустырях и на равнинах / Не найти тебе прекраснее дружка – / Принесу тебе яичек муравьиных, / Нацпилью в постель я пуху из брюшка. / Мы постелем наше ложе над водою, / Где шиповники все в розанах стоят. / Мы помчимся над грозой, над бедою, / Мы народим два десятка соловьят. / Не тебе прожить, без радости старея, / Ты, залётная, ни разу не цвела. / Вылетай же, молодая, поскорее / Изпод старого и жёсткого крыла!» / И молчит она, всё в мире забывая, – / Я за песней, как за гибелью слежу... / Шаль накинута на плечи пуховая... / «Ты куда же, Серафима?» – / «Ухожу». / Кисти шали, словно пёрышки, расправя, / Влюблена она, красива, нехитра, – / Улетела. Я держать её не вправе – / Просижу я возле дома до утра. / Подожду, когда заря сверкнёт по стёклам, / Золотая сгаснет песня соловья. / Пусть придёт она домой с красивым, с тёплым – / Гаснут глаз его татарских лезвия. / От него и от неё пахнуло мятой. / Он прощается у крайнего окна. / И намок в росе пиджак его измятый / Довоенного и тонкого сукна...»

Раньше я думала, что Корнилов о себе пишет – о «старом соловье», но теперь, много лет спустя, поняла: нет, он не «старый соловей» с жёстким крылом, а «злой, молодой и непослушный». Корнилов на себя молодого глядит глазами проигравшего соперника. Открыла его тонкую книжицу – фото. Ну конечно! Вот же – «глаз его татарских лезвия»! И Ольга Берггольц это подтверждает, вспоминая о первой своей встрече с ним в начале 1926 года на собрании ленинградской литгруппы «Смена». Она была ещё школьницей, а ему 19 лет, он перебрался в Ленинград из города Семёнова Нижегородской губернии:

«Здесь выступал коренастый парень с немного нависшими веками над тёмными, калмыцкого типа глазами, в распахнутом драповом пальтишке, в косоворотке, в кепочке, сдвинутой на самый затылок. Сильно по-волжски окая, просто, не заывая, он читал стихи...»

В 1938-м, оклеветанный «консультантом» НКВД по литературе Н. В. Лесючевским, который работал зам. редактора журнала «Звезда», Корнилов был расстрелян. По доносам Лесючевского тогда многие пострадали, была разгромлена талантливая часть ленинградских писателей, в том числе и самый выдающийся среди них – Николай Заболоцкий. Вот и Корнилов... Но за четыре года до этого, в 1934 году, успеет он написать свою «Соловьишу» – полную молодой жизни, страсти, поэзии. Так соловьи поют на краю гибели – с шипом розы в сердце.

\* \* \*

Вслушивалась я и в музыку Ярослава Смелякова. Многие знают его знаменитую «Хорошую девочку Лиду», а мне нравилась «Манон Леско» – редкое стихотворение о любви. Смеляков о любви писал мало, считая, что есть темы поважнее. Так думал и Александр Твардовский, и Редьярд Киплинг – у них тоже мало стихов о любви. Но вот – «Манон Леско». О ней, о французской куртизанке, а главное, о её преданном кавалере де Грие, который видел Манон чистой и прекрасной, о жажде такого нежного и поэтического чувства – в стране, где фабричные гудки заглушали слова любви – писал Смеляков эту маленькую поэму:

*«...Много лет и много дней назад / Жил в зелёной Франции аббат. / Он великим сердцеведом был. / Слушая, как пели соловьи, / Он, смеясь и плача, сочинил / Золотую книгу о любви. / Если вьюга замечает путь, / Хорошо у печки почитать. / Ты меня просила где-нибудь / Эту книгу старую достать. / Но тогда была наводнена / Не такими книгами страна. / Издавались книги про литьё, / Книги об уральском чугуне, / А любовь и вестники её / Оставались где-то в стороне...»*

И всё же поэт достал книгу аббата Прево:

*«С той поры, куда мы ни пойдём, / Оглянуться стоило назад – / В одеянье стареньком своём / Всюду нам сопутствовал аббат (...) / Десять раз по десять лет пройдёт. / Снова вьюга заметёт страну. / Звёздной ночью юноша придёт / К твоему замёрзшему окну. / Изморозью тонкою обвит, / До утра он ходит под окном. / Как русалка, девушка лежит / На диване кожаном твоём. / Зазвенит, заплещет телефон, / В утреннем ныряя серебре. / И услышит новая Манон / Голос кавалера де Грие. / Женская смеётся голова, / Принимая счастье и пыл. / Эти сумасшедшие слова / Я тебе когда-то говорил. / И опять сквозь русский снегопад / Горько улыбается аббат...»*

Писал, писал Смеляков о любви, говорил «сумасшедшие слова»! Но это была непременно «строгая любовь», которая разворачивалась на фоне великих строек. Он и главную поэму так назвал – «Строгая любовь», которую тайком сочинял в инструменталке одной из воркутинских шахт, где отбывал срок по 58-й статье.

Многие строки этой поэмы могут быть иллюстрацией к любопытной брошюрке – она недавно попала мне на глаза. В 1924 году издательство Коммунистического университета им. Я. М. Свердлова выпустило в свет книжку «Революция и молодёжь», где говорится о «двенадцати половых заповедях революционного пролетариата». Вот некоторые из них:

*«Класс в интересах революционной целесообразности имеет право вмешиваться в половую жизнь своих сочленов».*

Так и вижу такую картину: бойцы в будёновках, с красными бантами на груди, штыками стучат в дверь подозрительных «сочленов»: «Именем полового кодекса, открывайте! Вы нарушили инструкцию и будете осуждены революционным трибуналом!»

А в инструкции от университета им. Я. М. Свердлова строго написано:

*«Половой акт не должен часто повторяться, чтобы не отвлекать сочленов от строительства коммунизма».*

Но «сочлены» отвлекались, и это преступление.

Ярослав Смеляков в поэме «Строгая любовь» как раз писал об единоборстве «сочленов» с инструкцией. Героизируя своих сверстников 20–30-х годов, он слегка всё же иронизирует и над ними, и над собой. У героя поэмы Яшки в «от-

решённых глазах, не сулящих врагу пощады, вьётся крошечный красный флаг, рвутся маленькие снаряды», а героиня – комсомолка Лиза «взяла себе, как протест, вместе с кожанкою короткой, громкий голос, широкий жест и решительную походку». Она считала, что есть «ненависть только и братство, и нет на земле отношений иных». Но, несмотря на все коммунистические установки, любовь всё же прокралась в их ряды, как скрытая контрреволюция.

*«Ещё у нас светилось небо хмуро, / И влажный снег темнел на мостовой,  
А наглые продрогшие амуры / Уже крутились возле проходной... / И в обнажённой  
липовой аллее – / Актив Москвы, шуми и протестуй! – / Идя на всё, и всё-таки  
робея, / Он ей нанёс свой первый поцелуй...»*

Да, да! Именно «нанёс» – как ножевое ранение. Есть и такой пункт в инструкции: *«В любовные отношения не должны вноситься элементы флирта, ухаживания, кокетства»*, потому что половая жизнь в СССР, по мнению авторов брошюры «Революция и молодёжь», функция социальная, тут должны цениться классовые достоинства, а не половые признаки. Так что, увидел девушку в кожанке, выяснил её классовую принадлежность – и с полным правом победил, при этом *«не должно быть ревности, как проявления собственных инстинктов»*, пусть эта девушка гуляет налево и направо, всё равно – *«Не ревнуй! Она не твоя собственность!»* – гласит инструкция.

Читаем дальше этот увлекательный документ:

*«Если девушка из недобитых дворян или буржуев, то надо её решительно отвергать, потому что половое влечение к классово враждебному элементу такое же извращение, как и половое влечение к крокодилу или орангутангу»*, – это мне особенно нравится: сильно сказано! Цитировать можно всё – это песня!

А вот поэма Смелякова «Строгая любовь» не только об извращениях коммунистической морали, а точнее – её глашатаев, которые нынче выглядят пародийно, она ещё – о времени: и героическом, и страшном. Рассказывать о произволе, о тысячах невинных людей, замученных в сталинских лагерях, о страхе, что навис над страной, Смеляков тогда, конечно, не мог, но дыхание того времени всё же есть в его «любовной» поэме. Вот он описывает предутренний московский снежок. Даже этот тихий снег страшится попасть в немилость к большевистской власти:

*«Словно бы уважая власть / Большевистского райсовета, / Он не знает, куда упасть, / И тревожится всё об этом...»*

Вообще, поэма довольно лукавая: сквозь громкий пафос пятилеток, которыми поэт искренне гордился, сквозит и горькая правда о той эпохе, когда *«вопросы все решали жестко»*, т. е. пулей в затылок или каторгой, но писать об этом напрямую было опасно, вот Смеляков, как многие другие советские поэты, и переходил на эзопов язык. Однако бдительные цензоры обнаруживали крамолу. Цензоры – бессмертны! В пушкинские времена цензоры однажды даже многозначия запретили, опасаясь, что за ними может скрываться зловерная ересь. Так что, сажать можно всех поэтов без разбора – не ошибёшься. И сажали – всегда, со времён Эзопа. Но... *«Литературный процесс непрерывен, и не было никакого перерыва на революцию, и никакие изменения социальных формаций изменить этого не могут»*, – так в середине 60-х говорил Вениамин Каверин, и листовки Самиздата с этими его словами передавались из рук в руки.

После лагеря Смеляков вернулся в жизнь и литературу. Он бывал в Алма-Ате, вместе с женой Татьяной Стрешневой. Руфь Тамарина, тоже отсидевшая по 58-й

статье восемь с половиной лет, а дали ей 25, так вспоминает о Смелякове в своей мемуарной книге «Щепкой – в потоке»:

«...Я приехала к ним в горы, где Ярослав и Таня жили на одной из дач Совмина и переводили казахских поэтов. Тогда-то я и узнала о его судьбе: на фронте он попал в плен, сидел в Норвегии и совершил побег из фашистского концлагеря. Это много лет спустя был принят закон, по которому сбежавшему из плена полагался орден, а до самой смерти вождя всех племён и народов бывшие военнопленные считались преступниками и частенько попадали из фашистского концлагеря напрямик в наш... Ярослав получил те же стандартные 25 лет ИТЛ... Знаю от жены его Тани, что тогда, в 1958-м, когда я встретила их, двух вещей он делать не хотел – подавать заявление о реабилитации и вставлять потерянные в лагере зубы...»

Согласившись почитать стихи Руфи, он ей прямо сказал:

« – Стихи о любви сразу отложи в сторону – я их читать не буду, у меня нет времени!

– Почему, Ярослав?

– Потому что лучше Пушкина и Ахматовой, Блока и Есенина ты вряд ли напишешь. Пиши о своём времени и о себе. Будущим своим читателям мы будем интересны именно тем, что сумели сказать о своём времени...»

И поколение Смелякова и Тамариной выполнило эту задачу, но не все рукописи ещё прочитаны и не все книги о том времени дошли до широкого читателя. Поэма Р. Тамариной «Кенгирская тетрадь» – о восстании узников ГУЛАГа, но и о любви, а также её книга «Щепкой – в потоке», написанная в начале 90-х годов, к сожалению, не были замечены – они вышли не в Москве, а в Алма-Ате, к тому же все тогда читали Солженицына, Варлама Шаламова, «Чёрные камни» Анатолия Жигулина. А ведь её книги не менее правдивое и пронзительное свидетельство об «Архипелаге ГУЛАГ»:

*«...Какая жалкая судьбина!.. / Верблюды. Степь. Двадцатый век. / И под штыком киркует глину / Полупещерный человек... / Но мы недаром дети века – / Умеем временем дышать: / Быть – не рабом, но – Человеком, / Нас и штыками не лишат!..»*

В её книгах есть урок, как остаться Человеком, когда тебя штыками пригибают к земле, когда хотят сделать из тебя тупого, послушного неандертальца. У Солженицына, Шаламова, Жигулина суровая мужская проза, где описаны круги ада, страшнее Дантовых. А книги Руфи – это взгляд женщины, полный любви. Это книги о любви – на фоне уродливого, бесчеловечного бытия. Вот строки её «Кенгирской тетради» 40–50-х годов, которые были напечатаны только в конце 90-х:

*«...А меня полюбили в тюрьме! / Не за нежно-покатые плечи, / А всего за одно лишь желание / Быть лучшей самой себя, / За желание душу свою / Не позволить тюрьме искалечить, (...) / За желание жить, любя. (...) / За то, что годы неволи / Меня научили, наверно, / В каждой крупнице живого / Отыскивать красоту!..»*

В земном аду был спасительный – десятый – Круг Любви, когда тайно писались стихи, когда женщины и мужчины перебрасывались записочками через разделявшую зоны «колючку», когда влюблялись и тайком встречались, обходя вышки с вооружённой охраной, свирепых овчарок, беспощадных надзирателей. Женщины перешивали мешковатую грубую одежду в кокетливые наряды, муж-



чины старались тоже выглядеть перед ними опрятно, чисто брились. Женщины во что бы то ни стало хотели выжить, создать семью, и мужчин поддерживали этой мечтой.

«...И опыт страшных наших и фашистских концлагерей, и блокадный опыт Ленинграда убедительно доказали, что женский организм выносливее мужского, так как самой природой предназначен к вынашиванию и сохранению ребёнка...», – писала Р. Тамарина в книге «Щепкой – в потоке». Да, женский организм предназначен к материнской любви, ведь и любовь женщины к мужчине, в основе своей, материнская. Руфь вспоминает, что когда ей в лагере удавалось вырваться в «мужзону» к будущему своему мужу, то она первым делом старалась его накормить, экономя для него еду из своего скудного пайка.

Руфь в «Кенгирской тетради» пишет, как читала она узникам лагеря роман Л. Толстого «Воскресение», который иначе теперь воспринимался женщинами: они переживали за Катюшу Маслову, попавшую в тюрьму, как за свою товарку. Руфь тоже сравнивала школьные воспоминания об этом романе со своей нынешней судьбой:

«...Я не знала тогда, что придётся и мне / Услышать наяву скрип окованной двери / В настоящей, обычной – не книжной – тюрьме, / И по-новому книге правдивой поверить. / Ночью мертвенным светом горят фонари / Над уснувшей, как будто бы вымершей, зоной, / Кто-то будет на нарах стонать до зари, / Улыбаться во сне, бормотать полусонно... / А пока мы не спим – я касаюсь листов / Старой книги взволнованно и осторожно. / И поют арестантки, поют про любовь...»

Руфь и сама пела про любовь. За четыре года до освобождения, в «Кенгирской тетради» писала она эти трепетные, как степные первоцветы, строки:

«Дикорастущее счастье моё: / Солнце степное его не иссушит, / Горечь степная его не задушит, / Ветер степной ему песни поёт... / Жаль, что ромашки в степи не растут. / Я погадала бы – сбудется, нет ли? / Ясную радость или беду / Время нанизывает, как петли?»

«Когда я несу на плече саманину / И, вместо того, чтобы ты целовал мою грудь, / Саманная пыль оседает на грудь и на спину, / Поверь мне, мой милый, – мне легче других этот путь...»

А легче потому, что она любит, она знает, что и любимый в этот миг думает о ней, поднимая на плечи такую же ношу.

«...И ночь опускается мягко, / Как кошка на лапы. / И я не спешу, я иду и стихи сочиняю. / И ты улыбаешься ласковым, хитрым прищуром / Морщинок у глаз...»

Они идут, переключаясь сердцами, по жаркой степи, иссушенной ветрами и беспощадным солнцем, избитой бесконечной вереницей узников – с обострившимися скулами, с серыми лицами, с мёртвыми глазами, но на дне этих глаз теплится живая искра надежды, и у надежды этой прекрасный лик любящей женщины.

«...Палящий майский день... Вдали гроза набухла, / Готовая прорваться крупной дробью. / Трава в степи уже чуть-чуть пожухла. / Земля кругла – так утверждает глобус, / Но степь – поката, / Это знаю я, когда иду от края и до края, / Палящего степного бытия / Ни песней, ни слезой не нарушая...»

Она слушает, как растёт в ней грозой музыка великой Любви.

\* \* \*

Осип Мандельштам о стройках пятилеток не писал, как Ярослав Смеляков, не успел написать и о советских зонах, как Руфь Тамарина, хоть о нём и пели в одной песенке, что у костра экама стихи читал «фартовый парень Оська Мандельштам». Утверждают – со слов некоего брянского агронома В. Меркулова, что Мандельштам у костра декламировал девяносто сонетов Петрарки. Но какой там Петрарка, какой «фарт»? Илья Эренбург в своей книге «Люди, годы, жизнь» так вспоминает о нём

*«...Последний раз я его видел весной 1938 года в Москве... Кому мог помешать этот поэт с хилым телом и с той музыкой, которая заселяет ночи? (...) Да Осип Эмильевич боялся выпить стакан некипячёной воды...»*

Сначала он сошёл с ума, а потом погиб – после всех лагерных пересылок и мытарств. Стихи же его выжили, и я поглощала их тоже с восторгом – это бормотание безумца, это астматическое дыхание вдохновения, эту «музыку ночи»:

*«Бессонница. Гомер. Тугие паруса. / Я список кораблей прочёл до середины: / Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, / Что над Элладю когда-то поднялся. / Как журавлиный клин в чужие рубежи – / На головах царей божественная пена – / Куда плывёте вы? Когда бы не Елена, / Что Троя вам одна, ахейские мужи? / И море, и Гомер – всё движется любовью. / Кого же слушать мне? И вот, Гомер молчит, / И море чёрное, витийствуя, шумит, / И с тяжким грохотом подходит к изголовью...»*

Да, да, он прав – «всё движется любовью...» Его разоблачительного стихотворения о вожде: «Мы живём, под собою не чуя страны...», из-за которого и погиб, я тогда ещё не знала, тогда все повторяли его приторно-сладенькие строчки: «Я жизнь хотел просвистеть щеглом, заесть ореховым пирогом...», которые и мне нравились, но быстро приелись.

\* \* \*

Открыла я и вот эти строфы Николая Тихонова:

*«Мы разучились нищим подавать, / Дышать над морем высотой солёной, / Встречать зарю и в лавке покупать / За медный мусор золото лимонов. / Случайно к нам заходят корабли, / И рельсы груз приносят по привычке, / Пересчитай людей моей земли – / И сколько мёртвых встанет в перекличке. / Но всем торжественно пренебрежём. / Нож сломанный в работе не годится, / Но этим чёрным, сломанным ножом / Разрезаны бессмертные страницы».*

Стихотворение замечательное, но довольно сумбурное, как бы составленное из разрозненных строк. Возможно, в лавке поэт покупал не только «золото лимонов», но и кое-что погорячей – стихи пронизаны хмельной эйфорией, как и эти строки:

*«Но сквозь буйные дороги, / Сквозь ночную тишину / Я на дне стаканов многих / Видел женщину одну...»* Блок тоже видел – свою «Незнакомку», а также – истину: «Ты право, пьяная чудовище, / Я знаю: истина в вине...»

Время-палач ломало людей об колена, а кого не сломало, пыталось гнуть под себя, заносило над их головами кровавый топор, и чтобы не сойти с ума, поэты пили. Пил Блок, пил Есенин, пил Тихонов, пил Борис Корнилов, пил Павел Васильев... Но разум оставался трезвым – талант не допускал затмения, ведь только в стихах поэт может быть по-настоящему свободен. Тихонов прошёл по краю пропасти, когда вокруг летели головы его соратников. Он спасся – ценой компромисса с властью. И всё же, всё же, как хороши вот эти его строфы:

*«Где ты, конь мой, сабля золотая, / Косы полонянки молодой? / Дым орды за  
Волгою растаял, / За волной седой. / Несыть-брагу, удалую силу / Всю ковшами  
вычерпал до дна. / Не твоя ль рука остановила / Бешеных любимцев табуна? /  
На, веди мою слепую душу, / Песнями и сказками морочь! / Я люблю над степью  
звёзды слушать, / Опясывать огнями ночь...»*

В них русская удаль, душа через край, бескрайняя свобода. Какой поэт за-  
быт! Но эти диковато-пряные стихи Тихонова тонули в потоке зарифмованных  
лозунгов. Было жаль, что и Тихонов, вслед за Маяковским, *«наступил на горло  
собственной песне»*, придушил её, стал глашатаем сиюминутной идеологии, а  
не вечной поэзии, которая горной рекой пронеслась по его горлу, просверкала  
драгоценными искрами – и канула в пустоту.

\* \* \*

Не смог отказаться от партийного заказа и любимый мой – на всю жизнь! –  
Павел Васильев: его открыла я тогда же, в 60-е годы. Помню, всю ночь бродили  
мы с поэтом Сергеем Киселёвым и журналистом из Усть-Каменогорска Алек-  
сандром Егоровым, приехавшими в Семипалатинск в командировку, и они чи-  
тали по очереди стихи Павла, которые потрясли меня – я слышала их впервые.  
Васильев только-только входил в нашу литературу – после тридцати лет запрета.  
В Казахстане его открыли Павел Косенко и Тамара Мадзигон. Стихи так ослепи-  
ли меня, что к утру поднялась температура до сорока градусов. Я горела сутки,  
а потом жар отступил, продолжая полыхать в поэзии Васильева, и такая природ-  
ная мощь, такая энергия в его слове, что пробивает насквозь и просоветченные  
поэмы, которые его всё равно не спасли: Васильев был осуждён как подкулачник  
и враг народа и расстрелян.

\* \* \*

Увлекал меня и Сергей Есенин, но недолго. Стихи его молодёжь переписывала  
в тетрадки, девушки исходили кипятком, читая есенинскую любовную лирику,  
некоторые из них, наиболее экзальтированные, даже кончали самоубийством на  
его могиле, а я быстро к нему остыла, и он не оказал никакого влияния на моё  
творчество – в его поэзии было мало для меня красок и не было совсем азиатской  
диковатости, страсти, как у Павла Васильева, хотя Васильева сравнивали с ним.  
И близко не стояли! В жизни Есенин, как и Павел Васильев, бывал «хулиганом» –  
в стихах нет, ведь «хулиганил» намеренно, ради эпатажа – чтобы заметили,  
чтобы о нём говорили. Эпатировал публику и Маяковский, украшая себя вместо  
галстука морковкой. И всё же «Москва кабацкая» Есенина не так органична ему,  
как «Отговорила роща золотая...» и другие, подобные стихи – русские до корней,  
полные духовного здоровья и чистоты.

Пока поэты входили в меня отдельными строфами, строчками – книги их я  
прочитаю позже. Сегодня вся советская поэзия – на фоне нынешней – кажется  
мне прекрасной!

\* \* \*

Жизнь пролетела одним мгновением, а я всё ищу поэзию, которую методично  
убивают люди. Всё меньше нахожу её в современных книгах, зато всё больше в  
жизни. Окунётся она в прах, в чёрный пепел, в скверну людскую – и вынырнет

чистой, ещё более высокой. Чем страшнее, чем больнее живётся – тем выше Музыка. Так было всегда. Так будет всегда. Войнам Луговского «стихи не нужны», а Любви – нужны. Любовь живёт поэзией.

*...На свете прозы нет – поэзия одна! / Растёт из ничего, из воздуха она. / Вот крошит хлеб, подсвистывая птицам, / счастливая, блаженная жена. / Вот в глиняной плетёной руковице / кричат птенцы – из прошлого, из сна / вернулись дети – и весна полна / поэзии! На свете прозы нет. / Вот соловей слагает свой сонет, / и заливаает свет сады и хаты. / Вот девушка: перебирая рис, / нашла нежданно жемчуг розоватый, / волнистый, как и птички перекаты. / А вот старик. До положенья риз / напился он и жутко сквернословит, / и супит растопыренные брови, / и топает, нелепый и хромой. / Какая тут поэзия, Бог мой! / Когда бы не гармонь в цветастом ситце – / её зовёт он матушкой-царицей, / играя вальс под новою луной. / И век прошёл. И целая весна. / Дряхлеет плоть, как в трещинах стена. / Какой тут слог, и музыка какая? / Но я гляжу, ликуя, из окна – / всё поле в одуванчиках без края! / И прозы нет – поэзия одна...*

## Просторовцы

В середине 60-х начала я печататься в журнале «Простор». До этого публиковалась только в областной газете «Иртыш», где меня опекал замечательный поэт и добрейший человек Семён Анисимов, как-то он даже сочинил про меня шуточный стишок: *«В ходе тайного процесса, / Сочиняя жизнь в строке, / Утопила поэтесса / Свою туфельку в реке»*. Такое, в самом деле, было: я сидела на краю речного обрыва и болтала ногами, и тут одна туфелька упала в Иртыш, и её немедленно понесло течением – не спасти. Пришлось ковылять домой в одной туфле. Беда ещё и в том, что это были мои единственные туфли. Я поделилась своим горем с Семёном Михайловичем, и он тут же выдал экспромт, а также подарил туфли дочери, которые оказались мне впору. Были первые публикации и в республиканских газетах – «Ленинская Смена» (там молодёжь курировал Лёня Надилов) и «Казахстанская правда» (поэтов пестовала Руфь Тамарина). Но стихи в журнале – это уже как пропуск в большую литературу.

Удивительно: «Простор» появился в 1933 году, когда в стране была разруха после гражданской войны, в разгар голодомора, когда денег ни на что не хватало, но печатались книги и выпускались литературные журналы. Конечно, они должны были идеологически помогать коммунистической власти, но как много настоящих талантов поднялось на страницах этих изданий!

Тут уместна будет параллель с русским царём Владимиром Мономахом. Когда он пришёл к власти, то огласил свою программу, главным пунктом которой была *Духовность*. Без *Духовности*, считал Мономах, все остальные пункты бессмысленны.

В 60-е годы во главе «Простора» стоял Иван Петрович Шухов, написавший яркие «Пресновские страницы» – о сибирских казаках, с их неповторимым языком и нравами. Ещё раньше Шухов был замечен Максимом Горьким. Иван Петрович, рискуя редакторством и партийным билетом, печатал в своём журнале запрещённые произведения Марины Цветаевой, Андрея Платонова, Осипа Мандельштама и других писателей. «Простор» времён Шухова сравнивали с «Новым миром» Твардовского, хотя они, конечно, не сравнимы: «Новый мир»

был выдающимся явлением в истории советской литературы, как и её главный редактор – Александр Твардовский. «Новый мир» если и можно было с чем-то сравнить, то разве что с Некрасовским «Современником» – каждый номер этого журнала читатели ждали с нетерпением.

\* \* \*

Помню мою первую встречу с просторовцами. Было мне тогда пятнадцать лет. Приехали в Семипалатинск Валерий Антонов, Павел Косенко и Ростислав Петров, видимо, агитировать подписчиков. Валерий Александрович возглавлял отдел поэзии в журнале, отличался дерзостью в суждениях, был духовным гуру пишущей молодёжи, и это не случайно. Его поэма «Парус» была смелой для начала 60-х и читалась наравне со стихами московских поэтов-шестидесятников, героев хрущёвской «оттепели»:

*«В прославленной поэтами России. / И свергнутой, и ввергнутой во мглу, / Не прижилось непротивление злу / И святость даже правого насилия. / С насильем по дороге ремеслу. / Брезгливо трепеща, кровосмесили, / Плели узор изнеженные стили, / Кропя слезой каминную золу...»*

Его ученик – ещё со школы – а ныне московский поэт Вячеслав Киктенко в своих мемуарах «Память близких» так пишет об Антонове:

*«...Один глаз – ярко-зелёный, другой – голубой. Кудрявая светло-ржаная шевелюра на поистраченной временем (...) башке. Хромой, как Байрон, умнющий, как Сократ, неуступчивый, порою до цинизма, как Диоген – мелкоростый, щупленький, но громогласно басистый кержак, выходец из Бийска...»*

Есть одна байка об Антонове и Киктенко. Как-то, в сопровождении своих учеников, Валерий Александрович шёл домой. Все были навеселе. И тут Антонов схватился за сердце. Киктенко в карманах всегда носил горсти разных лекарств – россыпью, и потому, порывшись, извлёк какую-то таблетку и попытался дать Антонову, но Валерий Александрович плотно сжал зубы и сопротивлялся. Киктенко настаивал – Антонов не сдавался. Тогда Киктенко стал разжимать ему зубы, и разъял их, как Самсон, разодравший пасть льву, и всунул таблетку в рот учителю. Идут дальше. Тут Киктенко, перебиравший в карманах свою аптеку, вдруг вскричал: «Я дал не ту таблетку! Выплюньте, немедленно выплюньте!», но Антонов не выплёвывал. Тогда Киктенко повторил раздирание его челюсти, таблетку извлёк и всунул новую. Пока дошли до антоновского дома, процедуру эту Киктенко повторял несколько раз, всякий раз подвергая сомнению, ту ли таблетку он дал. К счастью, несмотря на трудности передвижения, Антонов домой вернулся живым. Скорей всего, дело было вовсе не в сердце: просто на груди, в потайном кармане хранился у Антонова заветный шкалик с вином, который он время от времени проверял.

В книге своей Киктенко приводит воспоминание об Антонове и другого поэта, Евгения Курдакова. Впервые войдя в редакцию «Простора» и увидев «маленького человечка с одуванчиком редеющих волос, с огромным лбом и пронзительным взглядом», который громил очередного автора-графомана, Курдаков опешил, но не отступил.

Громил Антонов не только графоманов, доставалось и талантливым молодым поэтам, тем же Киктенко и Курдакову. Киктенко, только-только окончив Литературный институт в Москве, имея поразительную память, первое время говорил

исключительно цитатами из поэтической классики, редко вставляя туда собственные мысли, что, конечно, забавляло, но и раздражало Антонова. Потом Киктенко, слава Богу, избавился от этой распространённой болезни учёных литераторов. Громил Антонов стихи юного Киктенко, а всё же в 90-е годы пригласил его на работу в «Простор», поручив ему молодых поэтов-авангардистов, которых сам не переносил, но печатал, и даже однажды уговорил просторовских «стариков» отдать молодым целый номер журнала. Возглавил этот номер как раз Киктенко собрав команду внештатных редакторов, которые в процессе формирования номера разругались насмерть, удивившись, что это такая тяжёлая работа, а они-то думали о «стариках»: вот бездельники! Сидят, почтывают в своё удовольствие художественную литературу авторов, да ещё за это зарплату получают, и все хотели работать в журнале, т. е. бездельничать, но когда сами попробовали редактуру, тут же отступились: труд оказался адским, и дотягивать молодёжный номер пришлось «старикам».

Разнёс Валерий Александрович однажды в пух и прах и мои вирши. Помню, я рыдала на груди своего новоиспечённого мужа-филолога, а он меня успокаивал: «Не реви! Этот Антонов ничего не понимает в поэзии!» Ещё бы! Филологи свято верят, что они лучше поэтов понимают поэзию. Потом мы с Антоновым подружились – на всю жизнь. Он приезжал, вместе с Инной Потахиной – они выступали в целинных совхозах – к нам с Олегом в деревню, где мы учительствовали, и у нас на кухне, по которой вольно прогуливались полевые мыши – лес-то рядом! – читал свою поэму «Парус», и она потрясла нас. «Одуванчик» антоновских волос стоял дыбом, глаза горели вдохновением. Он был прекрасен! Мы выпили за поэму и поэта, закусывая жарёхой из маслят. Но Антонова тянуло к возвышенному, и он занюхивал самогонку букетом полевых цветов, что стоял на подоконнике. Занюхивая, увидел в окне дикого оленя, который глядел поэту прямо в глаза. И это вполне могло быть! К нам заглядывали и лисы, и белки, а зимой – волки. Забегали в деревню и олени, а вот поэты забрели впервые, и, видимо, сильно удивили оленей.

Надо сказать, несмотря на строгость к стихам Киктенко, Антонов всё же видел его талант и по-своему любил Славу, даже брал с собой в походы по Алтаю, где они жили в палатках, ловили рыбу в быстрых Бие и Катуня, привозили оттуда новые стихи.

Антонов хотел в конце жизни вернуться на родину, в Сибирь – он скучал по ней. Подолгу стоял на высоких берегах таёжных рек, выбирая место для своей церкви, или скита, которые хотел построить. А времена, между тем, были глубоко атеистическими, но он не боялся не только думать о Боге, который вытраивался цензорами из советской литературы, но и писать: *«Одержимый враждою с Богом, человек заглянул во тьму...»*, *«И небо... земле являет смысл из бездн Его живым подобьем Нового Завета...»* – и таких строк много в его книгах 60–70-х годов.

На склоне жизни он всё же уехал в Сибирь, как мечтал, в Искитим, в небольшой городок, окружённый лесами, между Барнаулом и Новосибирском, и жена его, Тамара Владимировна, поехала за ним, оставив тёплую Алма-Ату, большую столичную квартиру в писательском доме, друзей, целую жизнь, прожитую здесь. Антонов умер на родине, похоронив там старшую дочь и жену, а вот церковь построить не успел...

\* \* \*

Я вспоминаю разговор с поэтом Алексеем Брагиным о тех временах, о Боге. Он признался, что до сих пор – а это был уже конец 80-х, – он не может определиться с этим вопросом: то ли Бог есть, то ли нет, хотя в детстве был крещён, то ли с большой буквы его писать, то ли с маленькой.

– И с какой же вы пишете? – спросила я.

– Со средней.

Надо сказать, Брагин многое в своей жизни делал с осторожной «средней» буквы. А вот Антонов – почти всё с дерзкой, заглавной. Больше всего мне нравится его стихотворение о Павле Васильеве. Оно непривычно для Валерия Антонова. Он и сам ему удивлялся. Его, склонного к умозрительным, философским рассуждениям, к громким фразам, с головой накрыла мощная волна васильевской стихии – с высверками ярких красок и перехлёстом чувств. И снова – библейские образы:

*«Ничто меня не убивало / Так и в глаза, и за глаза, / Как настигавшая, бывало, / Его поэзии гроза. / Там поминутно суд вершила / Над плотью в душном чреве твердь, / Кровь ярко вспыхивала в жилах, / А ум окутывала смерть. / Там возникала изначально / Степи и неба высота, / Безумно, вольно, беспечально / Из уст пришедшая в уста. / И как тебя я понимаю, / Хрестоматийной речи сноб, / Когда и сам не унимаю / Искорютовский озноб, / Стремясь предать забвенью это, / Почти преступное родство, / С землёй, родившей нам поэта, / И жадно отнявшей его. / С чуть-чуть косящими глазами, / До жизни и до смерти злой, / Под золотыми образами / Он создал каждый образ свой. / И на душе такая нега, / Что не теряет волшебства, / Вся в вифлеемских звёздах снега, / Его сгубившая волхва...»*

## Кающийся солдат

Антонов – небольшого росточка, с пышными золотыми волосами, курносый, выглядел мальчиком рядом со степенным, высоким Ростиславом Викторовичем Петровым, который, казалось, взрослым был всегда. Стариком не успел стать, хоть прожил почти 80 лет, но и молодым я его не помню. Он всё время находился в пограничном возрасте. Долгие годы был бессменным ответсеком «Простора», потом, в начале 90-х, стал главным редактором журнала. Петров был религиозно предан журнальному делу. Отец его, служащий КВЖД, во время Гражданской войны оказался в Китае. Вернулись они на родину только после смерти Сталина. Ростислав Викторович знал китайский, уйгурский, английский, что в советские времена было редкостью. Писал книги о наших разведчиках, работавших на Востоке.

С Павлом Петровичем Косенко мы считались земляками: он из Сибири, из Омска, а Семипалатинск и Павлодар – моя родина – тоже почти Сибирь: они сохранили сибирскую архитектуру, особый русский язык – остроумный и образный. Благодарение Господу, я выросла в этом языке, и до сих пор черпаю из неиссякающих его родников.

Долгие годы Косенко работал заместителем главного редактора «Простора». Известный литературовед, критик, он был ходячей научной библиотекой: в его памяти хранилась огромная картотека, и на любой вопрос можно было найти там

ответ – самый подробный и достоверный, с цитатами, со ссылками к научным статьям, с именами людей разных эпох. Косенко писал о сибирских писателях: Антоне Сорокине, Всеволоде Иванове, Павле Васильеве, но главный его герой – Достоевский, и в Семипалатинск Косенко приехал ещё ради него, ведь когда-то опального классика привезли сюда из Омска, из «Мёртвого дома». Он служил простым солдатом, но ему разрешили жить не в казарме, а снимать жильё, и он поселился в доме почтмейстера Лепухина на Крепостной улице, рядом с Тарской слободой, и пять раз в день слышал крики муэдзинов, призывающих к намазу – мечети были прямо за углом. Сюда, в этот дом, после венчания, привёл он свою первую жену – Марию Дмитриевну Исаеву и приёмного сына Павла. Бревенчатый пятистенник почтмейстера с каменным подвалом жив до сих пор, стал музеем Достоевского. К нему пристроили современное высокое здание, где располагаются экспозиции, а в избе обстановка того времени, когда жил здесь писатель: рабочий стол, кресло, тома Брокгауза и Ефрона за стёклами старинного книжного шкафа, альбомы с коричневатыми фотографиями на твёрдом картоне и т. д. Я была свидетелем, как добывались некоторые из этих раритетов: я посещала дома старозаветных бабушек вместе с организатором музея Зинаидой Георгиевной Фурцевой – она тогда работала библиотекарем в подвале дома, а вверху жили люди. Зинаида Георгиевна, ветеран Великой Отечественной войны и женщина решительная, добилась их отселения, придания дому статуса музея и стала его первым директором. А ещё там работала вечная девушка – назовём её Алина Кочубеева, которая была влюблена в Фёдора Михайловича, как в живого. Она знала о нём любую мелочь: его привычки, причуды, и – простите за интимность – родинки на теле, как знает только жена. Ревновала к его пассиям, и во время экскурсий говорила о них с нескрываемой неприязнью, особенно о второй жене писателя, Анне Григорьевне Сниткиной: мол, некрасивая, заурядная секретарша, и деньги всё время требовала. Вот Фёдор Михайлович и продавал издателям свои романы по частям, по главам, не давая им отлежаться. Деньги! Деньги! Проклятые деньги! Замучила гения.

– Но он же был картёжником, – встревал какой-нибудь начитанный отличник. – И проигрывал в казино большие суммы, вот жена и психовала: у них же куча детей, долги, есть нечего, а он играл!

– Да, играл! Но ведь надо же ему было как-то расслабляться, после мучительных размышлений и титанического труда за письменным столом! – бросалась грудью на его защиту Кочубеева. – Он был святой!

В Воскресенском соборе Семипалатинска есть икона «Кающийся солдат». Христос распростёр над ним длань, а солдат, в накинутой на плечи шинели, низко опустил голову. Он печален. Его худая шея полна покорности. Говорят, «солдат» – это Достоевский. Однажды икона замироточила. Любопытна история собора – о ней пишет Татьяна Титаева в статье «Семипалатинск Достоевского»:

*«...Был там знаменитый Казаков сад – дача, где отдыхали Врангель и Достоевский. Она связана с именем Матвея Казакова, отставного казацкого урядника. В нём как-то сосуществовали две противоречивых склонности – благотворительность и казнокрадство. За последнее он был лишён звания церковного старосты. Не гнушался Матвей Егорович и другими несправедливыми способами обогатиться – контрабандой и уходом от налогов. Был арестован, оштрафован и уволен со службы. Видимо, желая уменьшить груз собственных грехов, он стал*



главным инициатором строительства Воскресенского храма. Церковь была возведена в 1860 г. Достоевский, несомненно, являлся свидетелем её строительства. Храму удалось пережить все этапы гонения на православие. Мало того, алтарь разрушенного Знаменского собора установлен здесь...»

Ежегодно Алина отмечала дни рождения Фёдора Михайловича в кругу семьи: портрет Достоевского, она и кошка Маня. Пекла пирог, покупала вина, наряжалась. Иногда в гости приглашался томик Пушкина, и Алина зачитывала семье какие-нибудь любимые стихи, что-нибудь вроде этого экспромпта:

*«В молчаньи пред тобой сижу. / Напрасно чувствую мученье, / Напрасно на тебя гляжу: / Того уж верно не скажу, / Что говорит воображение...»*

Мужчины пытались завязать с Кочубеевой отношения, но все были решительно отвергнуты. Она хранила верность Достоевскому! Он следил за ней со своих многочисленных фотографий, развешанных по музейным стенам, и она, скрестив на груди тонкие руки, с благоговением взирала на него, краснея и замирая, как юная гимназистка. Всегда болезненно хмурый, невесёлый, ей он иногда улыбался. Она и сама была болезненной: после взрывов на ядерном полигоне у неё развилась анемия.

\* \* \*

Косенко, Антонов, Петров – такие люди! Они пригласили членов нашего литобъединения «Иртышские огоньки» выступить вместе с ними на Кожзаводе, и я тоже туда попала. Была на седьмом небе! Ужасно трусила, но просторовские «старики» меня подбадривали, подхваливали. Теперь смешно: «старикам» – по тридцать пять лет, но ведь мне всего пятнадцать, и просторовцы казались древними. Тогда-то они и взяли мои стихи в журнал, и напечатали. Потом, в начале 80-х я и сама стала работать в «Просторе», о котором всегда мечтала. Отдала ему более тридцати лет жизни. Счастливых лет! И в этих моих «весёлых мемуарах» я не раз ещё вспомню о «Просторе» и просторовцах разных лет.

### **Никольская и Мухтар Ауэзов**

В Алма-Ате подружилась я с переводчицей романа Ауэзова «Путь Абая» Анной Борисовной Никольской. Я уже писала об этой дружбе, но теперь ещё кое-что вспомнила, о чём не говорила прежде.

До печального «путешествия» в Казахстан Анна Борисовна работала в Ленинграде, в Пушкинском Доме, но потом была осуждена по 58-й статье и оказалась в наших степях. К Анне Борисовне привёл меня мой будущий муж Олег Новожилов. Он же учился на филфаке КазГУ, и к филологам иногда приходила на лекции Никольская – сама филолог по образованию. Высокая, худощавая, с волнистыми, когда-то русыми волосами, причёсанными на пробор, она казалась очень строгой, сухой, но когда начинала говорить, неожиданно преображалась – в глазах появлялся молодой блеск: она рассказывала в лицах, она устраивала настоящий театр, и слушать её было одно удовольствие. Но мне мешала моя скованность провинциальной дикарки. Я всё время боялась попасть впросак, и была занята больше этим, чем рассказами Анны Борисовны. И, конечно же, многое пропустила мимо ушей, о чём теперь жалею. Какая я всё-таки была дурында! К столу непременно подавался какой-нибудь необыкновенный пирог – с орехами.

лимоном или яблоками, какие-нибудь особые варенья. Если даже угощение было совсем скромным, стол всё равно сервировался празднично и по всем правилам хорошего тона.

Перебирала недавно свой архив и наткнулась на старую записную книжку, о которой забыла, где наскоро были записаны впечатления от встреч с Анной Борисовной. Даю в том виде, как было записано.

«Звоним. Стоим. Ждём. Но открывает Анна Ивановна – помощница по дому Голос А. Б. (Анны Борисовны) из комнаты: “Дети! Извините меня, я сейчас оденусь”. И пока мы оглядываем комнату (мы здесь не в первый раз, но всё до сих пор не разглядели, здесь так много изумительного, старинного и интересного, всё диковинно), итак, пока мы оглядываем комнату, стремительно, как всегда, появляется А. Б. Она, конечно, опять же, как всегда, извиняется за небогатое угощение (каждый раз для нас устраивается пир), и тут же сразу наш бесконечный разговор обо всём на свете, но больше всего, конечно, о литературе. Восстанавливать такие разговоры сложно. Это совершенно неожиданные, несовместимые, на первый взгляд, вещи, но связанные невидимыми нитями. В разговоре не следишь ведь за этими нитями, и потому не запоминаешь их. В памяти остаются разрозненные, наиболее яркие (а они яркие все!) отрывки рассказов А. Б. Воспроизводить их трудно ещё и потому, что А. Б. не только ярко рассказывает, но ещё ведь сопровождает всё неподражаемыми жестами, мимикой, голосом. Как передать голос? А. Б. не бывает спокойной и минутой. Она вся – движение, энергия. Тут кстати вспомнить отзыв поэта Леонида Кривощёкова о неугасающей молодости А. Б. Он говорил, что А. Б. не стареет совсем. А. Б. рассмеялась в ответ и сказала, что она будет ему, наверно, молодо подмигивать даже из гроба. А. Б. боится той выжившей из ума, ужасной старости, с которой она сталкивалась. Вот рассказ о некой Пустовой: “Вся трясущаяся, – А. Б. это изображает и делает тонюсенький, елеинный голосок: – «Ах, Анна Борисовна, я так люблю читать книжечки, подарите мне свою книжку!» Я ей подарила, хотя у меня были считанные экземпляры, Пустова приблизила к глазам книжку и прочитала: «Ни-коль-ская». А потом очень удивлённо: «На нашей лестничной площадке, в Лаврушенском переулке, тоже живёт Покровский, он вам не родственник?» Я была убита. Правда, потом её муж извинился за свою «пустоватую Пустову» и благодарил меня за книгу. Или другая старушечка, Соколова. Я любила с ней беседовать. Довольно умная женщина, о многом могла рассказать. А потом вдруг очень быстро, год за годом, стала сдавать. И потеряла всё, – А. Б. стучает пальцем по лбу. – У неё очень красивые руки и она всегда их делала так! – А. Б. выгибает свои, переплетя у подбородка, оттопыривая кокетливо мизинчики. – Вот здесь у неё были перстни, чуть ли не до самых ногтей. И вот однажды мы сидели за столом. Со мной был мой муж, Борис Иванович, и Соколова, возложив у подбородка свои руки, пропела: «Борис Иванович, на вас этот свитер бяка. Вам очень идёт ваш чёрный костюм. Всегда для меня надевайте чёрный костюм. Вы мне очень нравитесь!» Мой Борис Иванович покраснел, опустил глаза, а я долго после этого досаждала ему...”

Тут Борис Иванович что-то упомянул о плохой памяти. А. Б. не замедлила “связзвить”: “Ну вот, я тебя теперь усажу с Соколовой за один стол. Она скажет: “Борис Иванович, как вы мне нравитесь!” А вы ответите: “А вы для меня бяка!”

А потом воспоминание о Новелле Матвеевой. Зовёт её Новеллочкой.

“...Была я у сестры в Москве. Вернее, с сестрой в Переделкино, где Дом творчества писателей. Вбегает Новелла: «Ах, извините, я помешала?» – «Нет, нет! Что ты, Новеллочка!» У неё в руках гитара. Сама возбуждена: «У меня там, в комнате устроили мой концерт, позвали каких-то личностей. Противные!» Я возмутилась. «Неужели я не имею права на своё выступление пригласить, кого хочу? Пойдёмте, Анна Борисовна, пожалуйста!» Я пошла. Это очаровательно. Правда, голосишко у неё слабенький. У неё что-то с горлом. После двух-трёх песен она извинялась и дышала возле окна. Но пела с охотой. Это что-то невесомое. Облако! А глаза в тебя смотрят. Сама очень нескладная. Мне хотелось бы, чтобы она вся была невесомая, воздушная, чтобы не могли смеяться над ней. Запела она, а Кривичи – это критик со своим семейством – вдруг заржали. Новелла остановила гитару и так вся и вздрогнула: «А что, смешно разве? Что же смешно?» – эту фразу А. Б. повторила несколько раз, изображая изумление. – Кривичи замолчали и приняли умные позы. И потом народ сдерживал себя, хотя большинство не понимало её песен. Но одна поразила всех! – А. Б. пытается спеть её, но забывает ритм, и, наконец, пересказывает прозой. (Это известное стихотворение Н. Матвеевой: *«Любви моей ты боялся зря – / Не так я страшно люблю. / Мне было довольно видеть тебя, / Встречать улыбку твою...»* и т. д.) Моя сестра была очарована: «Какая чистота! Я никогда не получала такого удовольствия!» Потом А. Б. сокрушается тем, что у Новеллы Матвеевой ужасный муж: «Он пьёт. Однажды ворвался в Дом творчества и стал колотить её, но писатели вступились за Новеллу и хорошо прочистили мужа. Живёт она где-то за занавеской, снимает угол. Одета ужасно: какая-то штормовка, ещё 30-х годов. Толстый ремень. Летом попала под дождь. В одном ситцевом белом платьишке с какими-то цветочками. Делала всё, чтобы не замочить гитару. Сама промокла, и, вы не поверите, ей не во что было переодеться. Какая-то Кира Смирнова зарабатывает на её песнях...»

Борис Иванович тоже восхитителен. Кряхтит, шаркает ножкой. Смеётся глазами. Лукав. С обожанием глядит на А. Б. Великолепным путём достаёт интересные книги. Его знают все продавщицы-“книжницы”. Анне Борисовне часто дарят ненавистные для неё духи, так Борис Иванович передаривает духи продавщицам, за что получает их благосклонность и... книги.

А. Б. о своих детских впечатлениях: “Стоит мне вспомнить детские сказки или стихи, я тут же вижу изумительные иллюстрации из тех давних книг или заглавную особенную букву, или виньетки, заставки... – Разговор шёл о хороших и дурных современных фильмах по детским сказкам и классическим произведениям вообще, в частности, говорили о фильме «Сказка о царе Салтане». – Нужно в помощь детскому воображению давать такие хорошие filmy и рисунки. А то выходят дети из кинотеатра, вспоминают войну Салтана с инопланетными существами или уснувший город, и изумляются: «А в книжке такого не было!...»

...Её любимый современный актёр Жан Габен. Тут же в связи с этим актёром вспоминается Франция, Марлен Дитрих. Анне Борисовне о ней рассказывал много Вертинский:

“Господи! Что это была за дама! Они вместе пели в одном шикарном кабаре. Затем, когда они спустились в зал, зрители окружили Вертинского. У Марлен поклонников оказалось очень мало. Тогда она вспыхнула, через весь зал ринулась

к группе, окружавшей Вертинского, и по-французски бросила ему: «Разговор на пару минут!» Вертинский усмехнулся самодовольно: «Что ж, мы отошли. Она, разъярённая, набросилась на меня с такими словами: “Если вы будете перемазывать у меня поклонников, я заберусь на самый высокий стол и задеру юбки!” – “О, мадам, пардон, мадам!” Она выругалась отборной бранью и выскочила из кабаре. Так начался наш роман. Потом она заставила меня жениться на ней. Я женился. Она мне в качестве свадебного подарка преподнесла машину. На этой машине я удрал от неё – через Европу, через Америку, и попал в Японию. Надо было жить, и я стал давать концерты, зарабатывать деньги. Там мне понравилась другая женщина. И вот однажды ночью в наш отель врывается кто-то, тарбанит в дверь номера, говорит, что это полиция. Я открываю. Врывается Марлен, меня осыпает руганью, а моей любовнице исцарапала всё лицо. Да, это была ещё та дама!»»

...Борис Иванович показывает А. Б. книгу с фотографиями балерин – она любит балет и на стене у неё висит репродукция с голубыми танцовщицами Дега. А. Б. сначала радуется, увидев в книге знакомые знаменитости. Потом разочаровывается, когда идут неизвестные ей. Встаёт в позу: “Девчонки! Ты слышишь? Девчонки! Я становлюсь «Пиковой дамой!»” – И она несколько раз изображает Пиковую Даму. – “А что, я читала, что Пиковая Дама была чуть моложе меня. Я – Пиковая Дама!”

Борис Иванович смеётся надтреснутым, коротким смешком.

...Весь вечер А. Б. возвращается к возмущающей её суматохе и вражде в Союзе писателей: “Как мелко! В мире сейчас всё так напряжённо, неизвестно, сколько мы ещё проживём, а они растрачивают себя на мелочи! Надо стоять выше этого! Ин-же-не-ры человеческих душ. Тьфу! Гадко...”, – А. Б. не договаривает и резко машет рукой, и с негодованием сверкает глазами».

\* \* \*

Я писала стихи. Никольская благосклонно согласилась посмотреть их. Я бы ни за что не решилась их показать, но Олег настоял и сам принёс Анне Борисовне тетрадку со стихами. У меня остался подробный разбор моих виршей, написанный аккуратным почерком на нескольких страницах её письма ко мне в провинцию, где я тогда жила. Восторгов не было, только сдержанные замечания и вежливое подбадривание, за что я ей благодарна, но мне всё равно стыдно теперь, что я отняла у неё драгоценное время своими пустяками.

Анна Борисовна была серьёзно больна, задыхалась, то и дело прикладываясь к кислородной трубке, но не оставляла работы – много писала и своего, и переводила, и вела интенсивную переписку с разными людьми, а ещё занималась бытом. В одном из писем ко мне она сообщает о своём буквально героическом единоборстве с «ударами судьбы»: отключили свет, кончился газ. Муж её, профессор биологии Борис Иванович слёг и несколько суток был между жизнью и смертью. «Была одна ночь, – писала Анна Борисовна, – когда я думала, что это его последняя ночь...» К тому же, помощница её по дому, Анна Ивановна, пошла в магазин и упала там в обморок, пульс не прощупывался. Потом её кое-как реанимировали, за нею тоже нужен был уход. Анна Борисовна металась между мужем и Анной Ивановной, бегала к соседям, у кого был газ, с кастрюльками, пока кто-то из соседей не стал ей помогать на кухне.

Анна Ивановна... Я помню её. Маленькая, круглая старушка, когда-то пришла она с узелком из деревни, где раскулачили её семью, и прибилась к дому Бориса Ивановича, так и осталась жить. А Борис Иванович, с добрейшими глазами, в чёрной профессорской шапочке, всегда был улыбчив. К нему часто прибегали соседские дети – то с каким-нибудь жуком, то с другой живностью, и он определял, кто сие есть. Борис Иванович писал чудесные акварели. На стенах комнаты висели его картины – в основном горные пейзажи в голубой дымке. Несколько его работ, как он сам говорил, хранились в запасниках Третьяковской галереи.

Иногда к ним в гости из Москвы приезжала 50-летняя дочь Бориса Ивановича, Таня. Она переворачивала вверх дном весь дом, всё переставляла, передвигала, чем вконец изматывала стариков. Как-то обменяла самовольно их большую алмаатинскую квартиру на маленькую однокомнатную в Москве, и уже готовилась перевозить библиотеку отца, которая располагалась во всех комнатах и даже на застеклённом балконе. Анна Борисовна была сражена: во-первых, Борису Ивановичу врачи категорически не советовали куда-либо переезжать; во-вторых, Таня на вопрос, где же в Москве будет жить Анна Борисовна, отмахнулась: «У кого-нибудь из знакомых поживёте, а папочка зато возле нас будет!»; в-третьих: «Таня столько наговорила мне, так оскорбляла, как не оскорбляли и в лагере», – жаловалась Анна Борисовна. Никольская вызвала врача, и врач стал вразумлять закусившую удила дочь Бориса Ивановича, которая никак не могла, наверно, смириться с тем, что на смену её мамочки пришла другая женщина, которая жила у них прежде на квартире, а потом, после смерти жены Бориса Ивановича, заняла её место. Обычная история! Таня обвиняла мачеху в том, что она нарочно препятствует переезду Бориса Ивановича в Москву и его воссоединению с детьми. «Это я не хочу в Москву! – со слезами в голосе восклицала Анна Борисовна. – Я, у которой столько связано с Москвой и Ленинградом? Я могла бы уехать хоть сейчас, но остаюсь здесь только из-за Бориса Ивановича. Ему нельзя...»

Она принесла в жертву любви свою тоску по России, где творческая судьба её могла бы сложиться иначе. Может быть, имя Никольской стало бы более известным, она бы занялась любимой своей древнерусской литературой. Но вышло так, как вышло, и жизнь подарила ей не менее важные ценности: любовь Бориса Ивановича, дружбу с великим Ауэзовым, книги, которые она здесь написала.

Как-то я пришла к Анне Борисовне одна, без Олега. Обессиленная приступом астмы, она лежала на узкой койке, в маленькой комнате. Мне велела сесть рядом, на край кровати, потому что не могла говорить громко. И тогда она рассказала мне о Мухтаре Омархановиче Ауэзове. Но прежде чем привести здесь её рассказ, необходимо сказать ещё несколько слов об Анне Борисовне.

Первая половина её жизни прошла в Ленинграде. Её крёстными были дипломат Чичерин и сестра композитора Мусоргского. В Ленинграде защитила Никольская диссертацию по древнерусской литературе, которую отметил Луначарский. Никольская была первой женщиной с учёной степенью среди филологов России тех лет. Во время научной экспедиции в Геленджике нашла она неизвестное письмо Лермонтова, по поводу которого переписывалась потом, уже после лагеря, с литературоведом Ираклием Андрониковым, «ведение» которого было, скорее, занимательным, своего рода детектив литературного следопыта. С рассказами о поэте он выступал на эстраде, правда, весьма виртуозно и зажигательно.

Параллельно с научной работой Никольская делала переводы для Всемирной литературы с французского, немецкого и других европейских языков, которыми владела. Работала, как я уже говорила, в Пушкинском Доме.

В 1933 году Анна Борисовна попадает в Казахстан, где узнаёт всю горечь лагерной жизни, о чём пронзительно рассказала в повести «Передай дальше!», написанной в 60-х годах, когда мы с ней и начали общаться, и она даже открыла мне замысел этой повести, когда ещё ни строчки не было написано. Лагерь отнял здоровье и лучшие молодые годы. На комодке стояли у неё две фотографии. Она – в юности: чистое, нежное лицо, обрамлённое волнистыми волосами. И она – после лагеря: уголки губ опущены, взгляд жёсткий, колючий. Такой взгляд я видела у Льва Толстого в старости: глаза классика буквально сверлят тебя до костей – из-под нависающих седых бровей. Но в Казахстане, после освобождения, начался важный этап творческой деятельности Анны Борисовны. Познакомившись с памятниками казахской литературы, она, покорённая их своеобразием и высокой поэтичностью, начинает самостоятельно изучать казахский язык, а поскольку была по образованию филологом и уже знала несколько языков, имея, вероятно, к ним природную склонность, то и в казахском преуспела. Уже в 1935 году заканчивает она стихотворный перевод лиро-эпической поэмы «Кыз-Жибек». Переводит и песни Махамбета Утемисова, и одномник Нурпеиса Байганина.

Но самым значительным событием её жизни в Казахстане была, конечно же, напряжённая работа над переводом романа Мухтара Ауэзова «Путь Абая», дружба с выдающимся писателем, которая длилась долгие годы. Для работы над переводом М. Ауэзов привлёк целую бригаду русских писателей: Л. Соболев, Н. Анов, З. Кедрина и наша Анна Борисовна. Когда в 1959 году в Союзе писателей Казахстана отмечался 60-летний юбилей А. Б. Никольской, на торжественном вечере Мухтар Омарханович Ауэзов выступление своё начал такими словами: «Я сегодня праздную две юбилейные даты: 60-летие Анны Борисовны и 25-летие с того дня, когда она добрым гением вошла в наш дом!»

Великий роман Ауэзова, я думаю, ещё не однажды будут пытаться переводить, как, например, сделал это недавно Анатолий Ким, открывая в нём новые глубины и по-новому постигая душу казаха, душу Степи. Но Анна Борисовна была первой на этом пути и навсегда останется в лучших условиях как переводчик, потому что напрямую общалась с Ауэзовым, потому что он многое объяснял ей в своём замысле, потому что она соприкасалась с его творческой аурой, бывала в его семье, много с ним говорила, и волнение от этих встреч не прошло и через годы.

И вот я сижу на краю её кровати, и Анна Борисовна рассказывает мне о Мухтаре Ауэзове, делая паузы, чтобы отдышаться:

«...Это было в 1935 году. Я познакомилась с Мухтаром Омархановичем ранней весной, когда в Союзе писателей Казахской ССР состоялась первая читка отрывков моего стихотворного перевода народной эпической поэмы «Кыз-Жибек». В дальнейшем я два-три раза встречалась с ним в связи с моей литературной (переводческой) работой.

Жаркое алма-атинское лето... К маленькому, словно вросшему в землю, домику, где я живу, подъезжает машина (в то время машина была ещё редкостью в Алма-Ате!). Две записки: одна из Союза писателей, другая – от Мухтара Ауэзова. В обеих – просьба садиться в присланную машину и ехать по направлению к урочищу Медео. Там, на полпути к урочищу, на дачах были собраны писатели. Мне

тоже предложили пожить там и включиться в обработку переводов. Немедленно собираюсь, и мы выезжаем...»

Надо сказать, этот «маленький домик», где жила тогда Анна Борисовна, не сохранился, но улица жива, и её, стараниями учёного и писателя Александра Лазаревича Жовтиса, назвали именем Никольской. Я сама была на открытии этой улицы на Алма-Ате I. Она вся окружена садами, зелёная и тихая.

«Я – новичок в Алма-Ате, – продолжает свой рассказ Анна Борисовна. – А за город, в горы, так вообще попала впервые. Для меня здесь всё интересно: и природа предгорий Алатау, и неожиданные горные перспективы, возникающие при каждом повороте дороги, и юрта, в которой предстоит жить и работать несколько дней.

Мухтар Омарханович встречает, как радушный хозяин. С его женой, Валентиной Николаевной, я познакомилась ещё в городе, теперь знакомлюсь с их маленькой дочкой Лейлой. Сразу же садимся за работу, времени в обрез.

Мы отрываемся только в часы, когда нас зовут к столу. Но время идёт так быстро, что незаметно приближается вечер. В горных долинах и ущельях он надвигается сразу. Мы оба устали. Мухтар Омарханович предлагает мне немного пройтись по тропинке, вьющейся вокруг юрт. Кругом темнота и тишина. Слышен только плеск небольшого ручья, протекающего где-то поблизости, да приглушённые войлоком разговоры в соседних юртах. Я глубоко вдыхаю прохладный горный воздух и поднимаю голову. Надо мной чёрное небо, щедро и как-то ощутимо близко усыпанное крупными, яркими звёздами.

У нас начинается тихий разговор.

Мухтар Омарханович спрашивает меня, как я себя чувствую в Казахстане – я ведь приехала из далёкого Ленинграда. Да, приехала... – усмехнулась Анна Борисовна, прикладываясь вновь к кислородной трубке. – Такое уж получилось путешествие, что до сих пор дух не могу перевести... Но тогда мы об этом не говорили, конечно, хотя он знал обо мне, да и сам хлебнул тюрьмы. Он спросил только, свыклась ли я со здешней жизнью, с работой, с природой? Я отвечаю, что мне, коренной жительнице «Северной Пальмиры», до сих пор в Алма-Ате многое непривычно и ново...»

Северная Пальмира! Она теперь только и осталась, а настоящая Пальмира лежит в руинах, взорванная арабскими террористами. Обломки древних памятников культуры продаются на аукционах, священная земля заминирована, люди убиты или бежали. Пальмиры больше нет... Но вернёмся в другие времена, в 60-е годы, когда после такой же войны Ленинград – Северная Пальмира – поднялся из праха, отреставрировал свои дворцы и фонтаны, выкопал из земли захороненные скульптуры, открыл залы с картинами Эрмитажа и Русского музея. Анна Борисовна душой была там, но жить осталась в Алма-Ате, привыкая к её природе и небу.

«Я и близким своим писала, что даже небо, даже звёзды – те же самые звёзды, которые я с детских лет привыкла видеть и различать на вечернем небе, – здесь, в Казахстане, мне кажутся незнакомыми, новыми.

Мухтар Омарханович оживает:

– Это понятно, понятно! Вы знаете, я учился в Ленинграде, и ленинградское небо тоже казалось мне незнакомым. Хотите, я познакомлю вас с казахским небом? Вы же переводите на русский язык наши поэтические произведения – надо,

чтобы вы скорее сблизились с нашей природой, с творчеством нашего народа, чтобы вы и здесь чувствовали себя, как дома.

Я, разумеется, с удовольствием соглашаюсь: конечно, очень хочу! Мы медленно бредём по чуть заметной в темноте тропинке, и Мухтар Омарханович, останавливаясь и указывая рукой на ту или иную звезду, начинает рассказывать:

– Вот «Железный Кол» (Полярная Звезда), к которому привязаны два Коня (две звезды ковша Малой Медведицы). Тысячелетиями мчатся они в неуправляемом беге вокруг Кола, они не могут остановиться, потому что за ними гонятся Семь Разбойников (или Семь Воров-конокрадов – созвездие Большой Медведицы). Воры хотят поймать Коней... Зачем? А вон, вдали, видите? Почти на краю небосвода, тесно сбились в одну кучку ещё звёзды. Звёздочки совсем маленькие, а посреди них – одна побольше и поярче (созвездие Плеяды). Это Красавица, окружённая подружками и слугами. Семь Разбойников задумали похитить её, но для этого нужны им быстрые, неутомимые Кони, чтобы умчаться с нею как можно дальше от её слуг и стражи. И кружатся они тысячелетиями, и далеко вперёд убегают два Коня, и не могут поймать их Разбойники, и веселится с подружками сказочная Красавица...

Я слушала, как заворожённая, – лицо Анны Борисовны озаряется детской улыбкой и тем особым светом, который изливается из самых глубин души, где никогда не исчезает наше детство, с его святой верой в добро и бесконечную любовь. – Ауэзов был великолепным рассказчиком. Казахское небо открылось для меня, я как будто читала по звёздам древние легенды казахского народа, я видела воочию то, о чём он рассказывал мне... Я засыпала его вопросами о казахских легендах. Я видела, ему понравилось моё любопытство. Он признался, что и сам не устаёт восхищаться фантазией своих предков.

Мы заговорили о казахском летоисчислении. Он спросил, знаю ли я, что у казахов в прошлом годы считались по названиям двенадцати животных? В эту «дюжину» входят и год Барса, и год Зайца, и год Коня, и год Барана, и других зверей, в том числе и год Мыши, который считается первым годом всего рода. А почему? Кто присудил почётное первенство маленькому, незаметному зверьку?»

Анна Борисовна пересказала известную всем легенду о том, как Мышка первой увидела солнце, и с тех пор круговорот звёзд начинается с Года Мыши, а чванливый Верблюд, который не сомневался в своём первенстве, вообще лишился Года и был заменён в Зверином Круге не то Змеёй, не то Драконом.

Анна Борисовна помолодела лицом, сделалась такой же прекрасной, как на своей гимназической фотографии:

«Много мы с ним потом ещё говорили, но этот разговор, этот рассказ о ночном небе оставили какой-то особый, волшебный свет в моей душе... Как сейчас вижу: летний вечер в горах, яркие звёзды, легенды, рассказанные для того, чтобы я почувствовала себя в Казахстане «дома», своей, чтобы и это небо перестало быть чужим...»

Анна Борисовна и мне о многом рассказала в тот день – ясный, солнечный и сухой осенний день. Например, о том, что правда жизни не всегда выглядит достоверной в литературе, если её не переплавить в художественном Слове. Иногда литературной «правде» верят больше, чем житейской. Истории жизни порою выглядят слишком неправдоподобными. «Как история моей жизни...», – добавила Анна Борисовна.



\* \* \*

Загадочна судьба её архива. При жизни она оставила письмо для поэта Леонида Кривощёкова и его жены, Зои Васильевны Поповой, которая работала в издательстве. Я хорошо знала и Кривощёкова, и Зою Васильевну, дружила с ними: Кривощёков – мой земляк, с Иртыша, а Зоя Васильевна – красавица-казачка из Семиречья. От них слышала я о письме Никольской. В этом письме-завещании Никольская просила их заняться своим архивом после её смерти. И вот, когда Анны Борисовны не стало, Кривощёковы пришли в её дом, чтобы забрать архив, но все папки с рукописями и перепиской были пусты. Кто-то опередил Кривощёковых. Спустя время стали появляться публикации из этих папок. Публикатором был известный учёный, воспитавший несколько поколений прекрасных филологов, которые почтительно называли учёного Учителем. Его я тоже знала. Это он неоднократно приглашал Никольскую в университет, к своим студентам, был в её доме частым гостем – на этот случай Анна Борисовна пекла свой «коронный» ореховый пирог. И никто не мог поверить, что любимый Учитель занимается литературным мародёрством, хотя исследователи очень азартные люди, одержимые своим делом: идут по следу редких материалов, добывают их любым путём, не всегда праведным, лишь бы сделать научное открытие, быть первыми! Возможно, не устоял перед искушением и наш Учитель, а, может, кражу совершил кто-то другой и продал, или передал Учителю, да те же родственники, ведь у мужа Анны Борисовны была дочь и внуки. Вина Учителя не доказана, но пятнышко на репутации всё же осталось. А публикации были все интересные! Учитель продлил память о замечательной писательнице, много сделал для того, чтобы поднять имя её на пьедестал, достойный её таланта и драматичной судьбы. Он заново открыл Никольскую. Так что, пусть уж Бог его судит, а я не судья.

У меня долгие годы хранилась магнитная плёнка с голосом Анны Борисовны. Через сорок лет после её смерти Казрадио решило сделать передачу о Никольской, попросили у меня эту плёнку, но она так высохла от времени, что тут же рассыпалась в пыль, едва вставили её в магнитофон. Всё превращается в пыль, кроме нашей памяти и любви...

*Продолжение следует.*

